У

Список жителей Латвии в возрасте до 16 лет, депортированных 14 июня 1941 года

Убеле Айна Арнольдовна	**1930**
Убеле Рита Арнольдовна	**1938**
Убеле Зилва (Силвия) Арнольдовна	1934
Удре Гунта Гуна Эрманисовна	1940
Удриня Фея Фелицита Хербертовна	1936
Удриньш Виестурс Вилнис Хербертович	1930
Удрис Илгварс Ингус Эрманисович	1937
Удрис Улдис Янис Эрманисович	**1936**
Узане Бирута Александровна	1925
Узане Расма Александровна	**1926**
Узанс Алфредс Улдис Альбертович	1939
Узанс Янис Гундарс Альбертович	1935
Узтича Дзинтра Альбертовна	1938
Узтича Рита Альбертовна, род. в ссылке	1941
Узтича Зента Альбертовна	1932
Узтупс Романс Янович	**1931**
Улмане Гертруде Александровна	**1927**
Улмане Бирута Хервиновна	1930
Улмане Майга Сарта Вилисовна	1929
Улманис Атис Карлович	1941
Улманис Аугустс Аусеклис Вилисович	1939
Улманис Гунарс Вилисович	1935
Улманис Гунтис Эдуардович	**1939**
Улманис Янис Гунарс Хервинович	1933
Улманис Карлис Таливалдович	1929
Ульянова Антонина Константиновна	1934
Ульянов Николай Константинович	1940
Ульянов Федор Константинович	1928
Упе Айна Эрнестовна	1927
Упениекс Гунарс Эдуардович	**1927**
Упениеце Мэрия Эдуардовна	**1926**
Упениекс Айварс Оттович	1930
Упениекс Янис Габриэлевич	1931
Упениекс Петерис Габриэлевич	1936
Упениекс Роландс Оттович	1925
Упите Скайдрите Робертовна	1932
Упите Дзидра Миериневна	**1929**
Упите Майя Миериневна	1934
Упите Рута Миериневна	1927
Упите Илга Робертовна	1931
Упите Дзинтра Петерисовна	1939
Упите Спулга Петерисовна	1935
Упитис Марис Волдемарович	1941
Уступа Бирута Яновна	1929
Ушацка Виктория Яновна	1926

АЙНА УБЕЛЕ (ПУТАНЕ)

родилась в 1930 году

Жила в Латвии до 14 июня 1941 года, до того, как нас вывезли из Рудзатского сельсовета Даугавпилсского уезда.

Приехали четверо военных, мы уже спали, у нас была общая с мамой спальня. Отец сказал, что кто-то стучит. На часах было два ночи. Мама пошла открывать, прибежала: «Муженек, это за тобой!». Отец встал и вышел.

Мы поняли, в чем дело, – отец все время скрывался, по ночам не спал. По соседству с нами жил двоюродный брат, он сказал: «Поглядим, поглядим, как без отца жить будете». Запомнились эти слова...

Отца посадили за стол, маму и бабушку тоже. Мы, дети, сидели в кроватках. Сказали, чтобы готовились. Мама стала складывать в мешки одежду, мы плакали, спрашивали, что нам делать. Они сказали, что детей тоже можно взять. Отец вытряхнул из мешков все вещи, сказал, что жене это не понадобится, и мы уехали, в чем стояли.

Бабушка просила, чтобы ее не брали, ей было 66 лет, но ее взяли, и через три года она умерла.

Привезли в поселок Малкалне. В машине были семьи Лусисов, Скутелисов, Элстов, привезли Вейкшансов.

Приехали в Ливаны, где уже ждали вагоны. Запихнули всех в вагоны, задвинули дверь, с отцом даже не дали попрощаться, сказали, что когда приедем на место, там и увидимся. Приехала папина сестра, отец выплачивал кредит и последний раз, чтобы расплатиться, занял деньги у сестры. Сестра привезла эти деньги отцу, но их у него отняли.

Утром повезли в Даугавпилс. Много людей было из Ливаны. В Даугавпилсе мама нас позвала: «Взгляните на папину руку». На нем была синяя рубашка, он махал нам через решетку. И это все...

Ехали три недели. Когда выехали из Латвии, давали обед, ужин и воду. Двое ходили с молочными бидонами, которые захватила с собой Элсте. Они подготовились, а мои родители думали, что возьмут только отца.

Проехали Урал, высадили нас в Канске, поселили в школе. Дали обед – перловую кашу с молоком, и после этого у всех начался понос, латыши рассуждали даже, не подсыпали ли крысиного яду вместе с перловкой, зерна были розоватые. Люди ходили кровью, маленькие дети умирали. Устроили скандал, но бесполезно.

Потом приехали за нами на лошадях и повезли за 90 километров. Ночью поселили в школе. Утром пришли русские, принесли всякой еды, что у кого было, ничего за нее не просили, давали и плакали, они и сами была высланы из Витебска.

Выделили нам в конюшне место, там кобылка ждала жеребенка, там мы и жили, еще Вейкшансы и русская Наталья. Комнатушка маленькая, спали на топчанах, укрывались, у кого было чем укрыться, стояла чугунная печка, все время топилась. Работы не было, мама пошла в поле, потом пилили березовые чурочки. Морозы были 40–50 градусов, кололи чурочки в комнате, но заработать ничего не могли.

Мама продала все, что у нее было, купила корову, стало легче, весной выделили нам землю, мама вскопала лопатой.

Потом ее взяли работать на ферму, а мы с младшим братом ходили в детский сад. По-русски не говорили, учились, я должна была за сестрой смотреть. Бабушка ходила

Отучилась четыре года там, потом ушла в район, но учиться не смогла – не было ни одежды, ни еды.

Айна с матерью Татьяной

по району, выпрашивала хлеба, картошки, этим и питались. Прожили так года три, русские выделили нам домик, там и доживали, пока я не вернулась обратно. Мама домик этот купила на деньги, которые я заработала.

В первый год в школу не ходила, пошла только на второй год. Отучилась четыре года там, потом ушла в район, но учиться не смогла – не было ни одежды, ни еды. Отправили нас в район, зерно надо было провеивать, его варили, ели, весной собирали гнилую картошку, колоски. Хлеба было мало, давали по 100 граммов на трудодень. Мама зарабатывала, я помогала. Мама приносила зерно с фермы, приносила овсяную муку, пекли лепешки.

Летом было много грибов и ягод, все это варили и ели.

А потом и я пошла работать. Летом сено заготавливала, косила косой. Бригадир брать меня не хотел, надо было идти в тайгу за 60 километров. Пошла к начальнику, но и тот не разрешил. На второй или третий день мама прислала мне туесок с молоком, больше ничего. Вот тогда русские и стали меня подкармливать тем, что у них было.

Мама работала на ферме, я считалась помощником. По ночам она ходила пасти телят, днем их не выпускали. Я уехала, мама продолжала работать. Когда мне исполнилось 15 лет, пошла свинаркой на ферму, тогда же стала выдавать со склада муку. Мама взяла на себя эту работу, чтобы я могла пойти в школу, но она не выдержала, и я вернулась, стала работать.

Потом узнали, что можно уехать в Латвию. Младшая сестра согласилась, средняя ни за что. И тогда я 2 июля 1946 года уехала из Сибири, приехала в Латвию.

Начальник милиции сказал: «Ты куда, девочка, собралась! Пропадешь в дороге!». Я ростом маленькая была. До Канска довезли автобусом, на поезд сесть не могла, но решила, что и вернуться не могу. Встретили ленинградцев, они сказали, что их вагон прицепили к военному эшелону, они нас возьмут.

Так с ними мы доехали до Москвы.

Высадили нас, и отправились мы на Рижский вокзал. Я тогда смелая была. Взяла билеты до Риги, но вышла в Резекне, оттуда приехала в Аташиену. Вышла, встретила дальнего соседа, в какую сторону идти, не знала. И сосед отвез нас на хутор, где жил папин брат, приняли нас не очень радостно, даже сдержанно, ведь нищие приехали. Через три дня сказали: «Крестницу оставим, а ты поезжай к бабушке в Айзпуриеши».

Привезли меня туда, но и там не берут, сказали, чтобы ехала в Ливаны к крестной.

В октябре 1948 года крестная устроила меня скотницей в коровник, потом меня взяли санитаркой в больницу, и там я проработала 28 лет.

Мама осталась в Сибири, в 1957 году приезжала, но мужу сестры это не понравилось, она уехала обратно. Умерла мама там, от кровоизлияния в мозг. Похоронили ее в Сибири. Мы еще туда съездили – с мужем и с ребенком. Приехали в субботу утром, а они похоронили ее в пятницу, по обычаю, нельзя держать дольше четырех дней, а то дьявол душу украдет. Сестра из Москвы летела, а мы поездом ехали, не успели. Похоронили маму в деревне Глинная, и сестра там умерла и похоронена в 1996 году.

Бабушка умерла 22 августа 1943 года и похоронена в Тасеево.

Отец умер 11 июня 1943 года. Бабушка знала, что отец в лагере, он иногда писал, но в то время цензура все вычеркивала, приходили совсем черные листки.

В последнем письме написал, что скоро травка появится, что она поможет ему выжить, но, вот, не выжил. Все, кто вместе с ним были высланы, еще раньше умерли. Он держался дольше всех, писал, что очень хочет детей увидеть.

РИТА УБЕЛЕ (МУЙЖНИЕЦЕ)

родилась в 1938 году

Я Рута Арнольдовна Муйжниеце, урожденная Убеле. Родилась 28 ноября 1938 года в «Рудзаты». Сейчас это Прейльский район, а хутор называется «Звайгзнес». В семье мы были три сестры, мама и папа. И бабушка. Старшую сестру звали Айна, среднюю Силвия. Маму звали Татьяна, отца Арнолдс, бабушку Анна.

В 1941 году, как рассказывала старшая сестра, приехала грузовая машина с солдатами и за 15 или сколько-то минут надо было собрать вещи. Куда повезут, не сказали. Отца везли отдельно. Отвезли на машинах в Даугавпилс, загнали в товарные вагоны. Ни воды, ни туалета. Окна в решетках... Кто умирал, того выносили на рельсы. Не знаю, сколько ехали. Помню только, что были в России. Жили в землянке. В деревне Глинная Тасеевского района Красноярской области. Как рассказывала сестра – в колхозе имени Кирова. Мама там ухаживала за телятами, пасла их, а мы, дети, жили вольно. Ходили на речку, платочками ловили рыбу. Вокруг тайга... Мама иногда брала нас в лес, за грибами, за ягодами. Красной и черной смородины полно, кедровых орешек...

Зато и мошкары там видимо-невидимо. Надевают на голову специальные сетки, иначе пропадешь. Летом телят гоняли на пастбище за 25 километров, неделями там жили.

Смотрели за нами старшая сестра и бабушка. Ходили стайкой. Иногда подеремся, дети есть дети... Где старшая сестра работала, я уж и не знаю. Силвия, та в школу ходила. Потом маме орден дали за хорошую работу. И сестру, она была бригадиром на ферме, тоже орденом наградили.

О самых первых годах помнится постоянный голод. И мама варила нам крапивный суп без ничего. Это было ужасно – все мы ходили с раздутыми животами. И все время думали, как бы добраться до хлеба, он у нас лежал в кладовке, куда доступа нам не было. Ждали, когда бабушка заснет и мы наконец до хлеба доберемся. Мы бы его и сразу съели, но была норма. Муку маме давали один раз в месяц. Бывало, в карманах мама с фермы зерно приносила. Когда доставали мерзлую картошку, это уже было лакомство. Всю одежду мама сменяла у местных на картошку и хлеб. Так и перебивались... Когда до шкафчика с хлебом добирались, отщипывали и тут же съедали. Мама ремня грозилась дать, но мы успевали спрятаться, ждали, когда мама перестанет сердиться... Мама нас жалела...

Сама хлеба почти не ела. Пасла телят и ягоды и грибы собирала. Всю одежду обменяла... Осталась та, в чем ходили.

Все мы болели. Распухли... Была дизентерия. Возили к докторам, давали какие-то лекарства. Все дети были бледные, распухшие. У маленьких у всех был рахит. Сам маленький, ножки тоненькие, а живот, как мяч. Помню, когда приехала и пошла в школу, за партой стояла, если садилась, ничего из-за парты не видела.

Летом там было замечательно. Плескались в реке, было тепло. А зимой была каторга – мы даже на улицу не могли выйти. Далеко ли уйдешь босиком? А морозы там лютые – 40, 50 градусов. Климат там сухой, но летом – мошкара.

Зимой в тайге деревья пилили, тащили к реке, вязали плоты. Весной сплавляли – тысячи плотов!

Было, конечно, ужасно – голод, аппетит зверский! Ни белого хлеба, ни конфет там не видели. Не знаю,

Бабушка рассказывала, что в Латвии очень красиво...

сколько маме разрешали брать на ферме молока – литр, два. Но когда варили телятам, она приносила под юбкой, там тоже была охрана.

Бабушка рассказывала, что в Латвии очень красиво... Женщины собирались у кого-нибудь в доме, что-то делали – в основном вязали – и рассказывали. Помню, когда можно было уже переписываться, вторая бабушка и мамина сестра присылали кое-что из одежды. Это была радость! А когда смогли уже посадить картошку, стало легче.

В 1948 году старшая сестра Анна уговорила меня уехать в Латвию. Что на родине не жизнь, а рай по сравнению с Сибирью. И мы приехали. Отпускали тогда детей до 16 лет.

Оттуда одна женщина приехала с дочерью, и в 1949 году ее отправили обратно. Мама не рисковала.

Словом, рассказывали мне, как здесь красиво, нет мошкары. Конечно, уехать хотелось. Старшая сестра говорила, что и маме с нами с тремя трудно. Когда взрослые собирались, говорили, что здесь красиво, но я понять не могла, потому что и там было красиво.

Айна уже помогала в «Рудзаты», потому что отец построил новый дом. У нас было четыре комнаты, кухня, клеть. И еще домик, в котором колхоз открыл молочню. А посаженные бабушкой и папой дуб и липа... Хутор был красивый, красивая аллея, пруд, луга...

А как вы ехали в Латвию? Колхоз дал маме лошадь, отвезли нас к поезду. Мама Айне дала денег, в дороге что-нибудь купить. Все деньги завернули в платок, обвязали мне вокруг талии. Страшно было оставлять их в вагоне. Не знаю, как долго ехали. Знаю только, что здесь бабушка приехала за нами на лошади. Смотрела я на этот дом, на поля... И казалось мне, что я вырвалась оттуда в рай. Так жизнь тут и началась... Встретила нас тут мамина мама. У нее тоже был просторный дом. Во время войны рядом аэродром построили, и в доме жили немцы.

Мать Татьяна в Сибири. 1949 год

Папина мама, Анна Убеле, умерла в Сибири. Там ее и похоронили.

В школе у меня все получалось. Но как-то прицепился ревматизм. Главное переживание было, когда меня не приняли в пионеры. Слезы градом катились... Сказали, что нельзя принять из-за родителей. А когда я окончила Елгавскую школу медсестер, я уже была комсомольским секретарем. Полгода была на целине...

Когда я пошла в школу, мне было 10 лет. С латышским языком были трудности, все же росла я вместе с русскими детьми... Мы там все говорили по-русски. Мама говорила и по-латышски, но сколько она дома бывала... Ночами.

Я ни читать не умела, ничего. Я только здесь и начала по-настоящему учиться. Не стану скрывать, бывало что и шалили.

Жила у бабушки и во всем помогала. Но главное – здесь была еда. И одежда была, и обувь. А там жили в голоде и в холоде. Это так жестоко!

У мамы было высокое давление, лекарств никаких... Мама ходила в библиотеку, много читала. Раз в неделю привозили кино, и мама пошла. Вернулась, легла спать.

В пять утра Силвия ее будит, на ферму надо, а мама не встает – во сне умерла. А накануне вечером все было в порядке... И выглядела, как живая. Умерла мама в 1968 году.

Об отце знаю только то, что он был на шахтах, в Кировской области. Вначале, когда он маме писал, цензура все вычеркивала. Мама показывала. Только пара слов – со мной все в порядке, здоров, до свидания.

Спрашивал, как у нас дела. Айна писала в Москву, и мама писала в Кремль. Прислали справку, что отец умер в 1942 году естественной смертью.

В шахтах Кировского района. В те семьи, что в Сибири с нами были, отцы ни в одну не вернулись. Все умерли.

Отец Арнолдс

ЯНИС УДРИС

родился в 1936 году

Родился я 9 августа 1936 года. Жили в помещении сельской школы, мама была учительница, отец работал в должности, вероятно, неугодной советской власти. Он был писатель, вероятно, за это нас и выслали. Мама была тихая как мышка, работала в школе, воспитывала детей.

Брат был на год младше, сестренка родилась в 1939 году. Гуна и Илгонис. Я помню, как меня разбудили, во дворе стояли машины. Надо было вставать и собираться. У нас был радиоприемник ВЭФ, они его взяли, а нас посадили в машину.

Запихнули в вагоны, это были телячьи вагоны, я сидел на верхних нарах у окошка. В Даугавпилсе долго стояли, цепляли какие-то вагоны. Из Даугавпилса путь вел прямиком в Сибирь.

Отца увели в другой эшелон, что стоял на соседних путях. Больше мы его не видели.

И мы поехали, очень часто подолгу стояли. В Москве и еще где-то. Когда мы уже подъезжали, давали суп и хлеб, но это уже потом. А до этого ели то, что с собой захватили. Я был как бы в полусне, колеса катились себе и катились. За Уралом за супом ходили, недалеко, помню только, когда нас высадили в Иланске, я от долгого лежанья еле ноги передвигал. Там нас посадили в колымаги и повезли, ехали мы несколько дней. Нас привезли в Александровку, большое село. В Южную Александровку, дома большие, добротные, большинство пустовало, поселили нас в одном доме вместе с Мирдзой Паваре-Озолой – у нее была мама, она нам помогала, у них маленьких детей не было. Дом был просторный, была большая горница. Помню, что я боялся выходить на улицу, потому что русские сразу начинали кричать. Вначале было страшно.

Страха не было, только трудно было. Я не понимал, что есть нечего, но все время хотелось есть. Хотелось, но ничего не было...

А потом у дома появились хозяева, и нас переселили в другое место. Второй дом стоял на окраине, не такой крепкий. Зимой было холодно, была большая печь, на которой мы спасались от холода.

Мама билась, как могла. Недолго я ходил в детский сад, там какое-то время были такие учреждения, куда брали всех и хорошо кормили. Мама работала там уборщицей. Иногда работала дотемна, и мы шли домой вместе. В августе ночи темные – по одну сторону дороги огороды местных жителей, по другую – кладбище. Этой дорогой мы возвращались домой, тут было ближе. Дом наш стоял на окраине, и случались тут всякие несчастья – однажды дом взломали, одежду, которую мы могли на что-то выменять, украли.

Помню, как спал и на полу, кроватей не было. Мама ушла, Мирдзу отправили ловить рыбу. Как-то ненормальная девочка стала дергать дверь, я испугался. Она дергала, дергала и открыла, я стал кричать.

Потом снова пришлось поменять жилье. И снова жили на окраине, далеко от центра. Страшно мерзли. Гунта забралась на печь, мы внизу. Она заболела воспалением легких и умерла, это было зимой, в 1943 году.

Помню, что мы с братом ходили в садик и зимой, хотя было очень холодно. Был март, брат сказал, что у него болит голова. Заболел, и его положили в больницу. Прошла неделя, пришла мама и сказала, что она нашла другое место, жить теперь будем у хозяйки. Мы жили в одной комнате, хозяйка в другой, но топила печь она. Брат умер от менингита или от чего-то другого, не знаю. Умер он в 1943 году.

Тогда все умирали. Возможно, что сестренка умерла в декабре 1942 года.

Тогда и меня положили в больницу, вслед за сестрой, чем я болел, не знаю. Там было хорошо, кормили, лечили меня. А в феврале 1943 года брат умер. А потом и лето наступило. Мама работала в аптеке уборщицей, мыла, чистила. Помню, как аптекарша устроила для детей праздник, кормили ужином, ее ребенок тоже там был.

Мама умерла в 1943 году. Она тоже лежала в больнице. Помню, была гроза... Маруся Кугина сказала, что мы сходим навестить маму, одного меня отпускать не хотела, надо было переходить через мост, больница была на другом берегу. Больше ничего не знаю. Помню только, что была гроза, что мы шли, а утром я уже знал, что мама умерла. Пришли, и врач с нами разговаривал, опустив голову. Сейчас, проработав столько лет врачом, не уверен, что они должны были умереть, а тогда знал.

Похороны? Какие похороны, уложили в гроб, никаких похорон не было. Уложили в гроб, закопали. Сейчас я и места этого не найду. Знаю только, что у русских бывали поминки, мы тоже приходили. На могилку выкладывали еду, у латышей такого обычая нет.

Помню, что рядом со мной жил мальчик, мы с ним колесо гоняли, в лес вместе ходили. У меня и письмо от него хранится. Я написал ему письмо из института, ни фамилии не знал, ничего, но ответ пришел, он вспоминал, как мы вместе «тачку гоняли» и все такое.

А что с вами потом было? Решили, что меня надо отдать на обеспечение государства. Маруся работала в аптеке, ездила за медикаментами в Иланск, взяла меня с собой. Подвезла к милиции и велела зайти. Я боялся, но идти надо было. В то время много побродяжек было, они мне и не удивились.

Что и как, не знаю, но отправили меня в детский дом. Приехали в Ачинск, там меня не приняли. Наконец попал в детский дом в Саянском районе, детский дом имени Кирова.

Летом мы бродили по лесу, собирали ягоды, меня змея укусила. Ходили босиком. Хорошо, что недалеко амбулатория была, сестричка жгут наложила, прижгла место укуса. Нога страшно распухла, больше я в те места не ходил. Неделю делали компрессы из простокваши, потом все прошло. Неделю там побыл, потом вернулся.

Янис после ссылки

В детском доме пошел в 1-й или во 2-й класс. С математикой было все в порядке, а вот с русским языком трудновато.

А потом наступило время, когда можно было возвратиться в Латвию. Откуда поступили сведения, не знаю. Ехали сначала на лошадях, до Ачинска, потом на поезде. Ехали и на грузовиках. Я и до сих пор удивляюсь, как им удалось всех собрать, разузнать национальности. В конце концов оказались мы в Красноярске, оттуда и уехали. Там был лагерь на берегу Енисея, в красивом месте на берегу огромной реки.

По-латышски совсем не говорил, когда вернулся, пришлось учиться, там-то никаких контактов не было, общался только с русскими. Во всех детских учреждениях говорил только по-русски. Но латышский язык освоил быстро. Определили меня во 2-й детский дом на улице Кулдигас, 45, господин Делиньш, вероятно, собирал всех латышских детей. Но я учился в русской школе...

Окончил среднюю школу и институт. Разыскал в Мадоне сестру дедушки Алиду, она была уже очень старая. Мы поговорили, я иногда писал ей.

Вы знали, что произошло с отцом? Сейчас получил свидетельство о смерти. Умер он от воспаления легких в 1942 году. Летом, где-то на севере, в лагерях.

Часто ли вы вспоминает ту свою жизнь? Страха не было, только трудно было. Я не понимал, что есть нечего, но все время хотелось есть. Хотелось, но ничего не было...

РАСМА УЗАНЕ (НЕЙБУРГА)

родилась в 1926 году

Еще раньше, 19 мая, два разведчика, офицеры СА, прискакали на лошадях, разговаривали с отцом. Один молодой, стройный, второй постарше. Когда собрались уезжать, один из них сказал «aufidersein», мы еще посмеялись, я была совсем девчонка.

Когда нас вывозили, старший, блондин, присутствовал. 14 июня нас выслали. Кажется, никто не рассказывал о том, что вначале приезжали на разведку.

Нам сейчас, когда начали реабилитировать, надо было идти в чека, спрашивали, кто что делал. Я назвала имя самой рьяной коммунистки, директора нашей школы – Зобену. Сказала, пусть она и рассказывает, что натворила столько ужасного...

14 июня утром услышали чужие голоса, приехали в четыре часа утра. Нас разбудили, вышла в кухню. За большим столом сидел отец, я сразу узнала того офицера, который приезжал к нам 19 мая. Отцу велели сидеть, мы с мамой укладывались. Брат тоже был дома, но его в списках не было, он был прописан в квартире в Екабпилсе, но раз он здесь, сказали, пусть тоже собирается. Сестры дома не было, уехала к крестному, папиному брату, в Элкшни. Она сама пришла к вагону, одна оставаться не хотела. Везли нас машиной, сказали, чтобы вещей было не больше 100 килограммов. Понять, что брать, что не брать, было трудно. Из местных был такой Ореховс, он знал всех, кто где живет. В Крустпилсе отца забрали, нас посадили в вагон.

В вагоне было 63 человека, это я хорошо помню. Кто-то захватил вещи, у кого-то не было даже чем укрыться, на чем спать. У нас было, жаловаться не приходится. В Латвии давали только воду, ведро на всех, не часто. В России иногда приносили в ведре суп. Кто с собой еды не захватил, ели охотно. Ехали долго. Помню, выпустили из вагона где-то уже в России. Ненадолго, глотнуть свежего воздуха. Воздух и условия в вагоне были ужасные. Дети все время плакали, ехали и старики.

В Янов день были уже на станции Ададым. Нам никто ничего не говорил. Мама еще утром сказала – сегодня высадят. Мы спросили – откуда ты знаешь? Она сказала, что видела во сне, будто она ткет, и полотно уже кончается... Мама сказала, что полотно означает конец пути... Так и случилось, вечером приехали на станцию Ададым. Спали в бараках, но куда там спать – уйма клопов! Нары в несколько ярусов. Несколько человек нас спали на улице, на траве перед сарайчиком. На второй или третий день приехали за нами из колхозов. Не знаю, по какому принципу они делили и увозили, но мы поехали туда, куда повезли. Помню, что жили мы в 18 километрах от того села. Лошади слабосильные, везли наши пожитки, мы, спотыкаясь, тащились пешком. Когда пришли, увидели, что деревня бедная, называлась она Куличка. Есть такое выражение – «у черта на куличках».

Первое, куда нас послали, – жать серпами хлеб. Серпа никто из нас в руках не держал. Потом были другие крестьянские работы, заготавливали сено. Хлеба давали 500 граммов, тяжелого, не хватало, конечно. Стали ходить в соседние села, менять одежду на зерно. Мама на золотое обручальное кольцо выменяла ведро картошки. За летнее платьишко дали больше. Не скажу, что так уж голодали, менять еще было что. Осенью ходили провеивать зерно, сапоги были большие, а что поделаешь, если зерно в

Подростки, разъезжавшие на лошадях по полю, похожи были на пугала, какие у нас делали, в лохмотьях...

сапоги насыпалось? Пришел как-то председатель колхоза, посмотреть, как работаем. Была там одна женщина, полушубок на ней, председатель подошел, как бы шутя обнял, карманы пощупал, но, к счастью, мешочек она в другом месте припрятала. Она рассказывала, что от страха чуть сознания не лишилась.

Больше всего меня потрясало, что за комбайном оставалось много колосьев. Взяли мы торбочки, пошли собирать. Прискакал наш политический надзиратель, принялся ругать нас, отобрал колоски, вытряхнул торбочки на землю, поджег. Значит, сжигать не грех, а людям дать... Местные подбирать колосья не ходили, вероятно, знали, что нельзя. Зиму кое-как прожили, а весной отправили нас на север. Брат что-то зарабатывал, он был трактористом. Они зарабатывали, но сколько там он зарабатывал – вычитали, так как давали 500 граммов хлеба, давали зерно. Когда в колхозе делали перерасчет, это хорошо помню, на трудодень выходило 100 граммов зерна. А трудодень за день не выработаешь, хорошо, если за два дня. Колхозники были все в долгах. Покрыть долги они не могли, вот долги и росли все время. Помню, давали растительное масло, «рыжик» называлось, мы сами его и давили. Темное, вязкое, я иной раз думала – так, наверное, ад выглядит. Не скажу, что сама работа была трудная, нас там много было, но выглядело все ужасно.

Весной, когда забирали, увезли тех, у кого были взрослые дети или вообще детей не было. Стариков и с малыми детьми не брали. И снова мы, кажется, до Ачинска шли пешком, на лошадях везли пожитки. А лошади настоящие клячи, еле переступают. Понять это было невозможно – земля там жирная, все растет, а люди вот такие... Это же было в 1941 году, еще до войны. Картина была печальная. Подростки, разъезжавшие на лошадях по полю, похожи были на пугала, какие у нас на огородах ставили, в лохмотьях... В отцовских обносках, какие-то треухи на голове. И у всех лошадей одна и та же кличка. Мальчишки погоняли лошадей и при этом страшно матерились. Мама знала русский язык, знал и еще кое-кто, они говорили – не удивляйтесь!

На север везли нас на лихтере. Мы менялись – мама с сестрой оставались у вещей, мы с братом бегом узлы носили. Кто-то из команды спросил, не хотим ли мы в каюту на носу. Каюта была пустая, предназначалась для команды. Набилось нас туда человек 12, остальные спустились в трюм. Там было ужасно, кто-то оставался на палубе, мы же, можно сказать, если сравнивать, ехали чуть ли не с комфортом. В Игарке стали искать среди нас механиков. Мы вполне могли там остаться, но компания, которая за это время образовалась, ни за что не хотела расставаться, и мы не сказали, что брат может работать механиком. И мы поехали дальше. Высадили нас через 60 километров, берег крутой, на круче рыбацкая хижина. Привезли нас будто бы ловить рыбу, но неделю мы прожили в этой хижине без работы. Потом пришел какой-то парень из Игарки. Кажется, он должен был обучать нас лову. Несколько женщин сели в лодку, звали, кричали, но ловли так и не получилось. Там давали хоть сколько-то американских продуктов, белую муку, кусок сахара, был, кажется, и кусочек масла. Не помню только, как долго это продолжалось. За хижиной было озерцо, туда мы и ходили ловить. Что-то поймать удавалось. Сети были, по-моему, в Еремино. Потом отправили нас косить сено в Носовую, в сторону Игарки за 35 километров. Там кто как – кто умел, кто учился. И не было бы так страшно, если бы не гнус. Даже комары не так кусали, как эта мошка, вот это было страшно. Моя кровь ей пришлась по вкусу, искусали так, что вместо глаз одни щелки остались. Лицо в два раза стало шире – так я распухла от этих укусов. Был с нами такой господин Путниньш с дочерью, он очень переживал, сказали бригадиру, что сетки нужны. Нам их вначале не дали. Ругались с бригадиром, говорили, что мы от отравления умрем. Дали нам после этого сетки, мы их сами пошили. Мошка так и так пробиралась, но меньше. Все застегнешь, рукава обвяжешь, а вокруг все до крови изъедено.

Осенью отвезли нас в Плахино, в колхозный центр. А там кого куда... Сказали что кто-то из нас, сестер, должен ехать рыбачить на озера. Мама сказала, что должна ехать я, я и посмелее, и поэнергичнее. Собрали вещички, сколько у нас уж их было. До Носовой плыли в большой рыбацкой лодке, а потом пешком 20 километров через Енисей. В Еремино, где мы были в самом начале, переночевали. Снаряжение оставили, в лодки занесли только еду. Когда утром пришли, дул северный ветер. Вещи со стороны реки пришлось изо льда выкалывать. Мои вещи тоже оказались подо льдом. Добрались до Носовой, и оттуда надо было шагать эти 20 километров. Достали у местных санки, и я свой кусок льда затащила наверх. В такой ситуации оказались

многие. Хорошо, что была там печка, высушили. На следующий день тоже не повезло. По реке уже шла шуга, куски льда.

Так прожили мы на этом постоялом дворе неделю, сушились. Может, и меньше. Бригадиром был такой Кошелев, велел собираться, переходить. Приказ есть приказ, собрали свои манатки, пошли. Бригадир с шестом впереди, лед прощупывает. А мы, как гуси, следом. Вдруг кричит: «Назад, назад!». Оказалось, он лед пробил, видно, течение было сильнее, не совсем река замерзла. Пошли другим путем, обходным. Кое-как перебрались, на берегу он от волнения был весь мокрый, сказал, что все время боялся, как бы мы не ушли под воду. А вот подождать пару дней не мог. Поход этот был ужасный, через тайгу, зарубки на деревьях были, тропка узкая. Шли по этим зарубкам. Знатокам, вероятно, идти так было бы просто. Потом рыбаки перевезли нас через озеро. Но и оно подмерзло. Дальше было озеро Щучье. И мы остановились на нем рыбачить. Потом перебрались на другое озеро. Тут уж пришлось рыбачить подо льдом. Если зимой собирался ловить неводом, летом надо было место обозначить, почистить. А там все было наоборот, как во многих местах в России. Там росли лиственницы, много лиственниц. Запутывались в них сети. Там, где мы были, готовились ловить неводом. Я сидела возле печки, в которую кидали бересту и закручивали в поплавки. На плите стояла кастрюля с кипятком, кто-то прошел и случайно опрокинул ее мне на ноги... Ошпарила ноги, особенно правую. Надо мной сжалились, и я осталась в помещении чинить сети. Хотя и эта работа была не из легких.

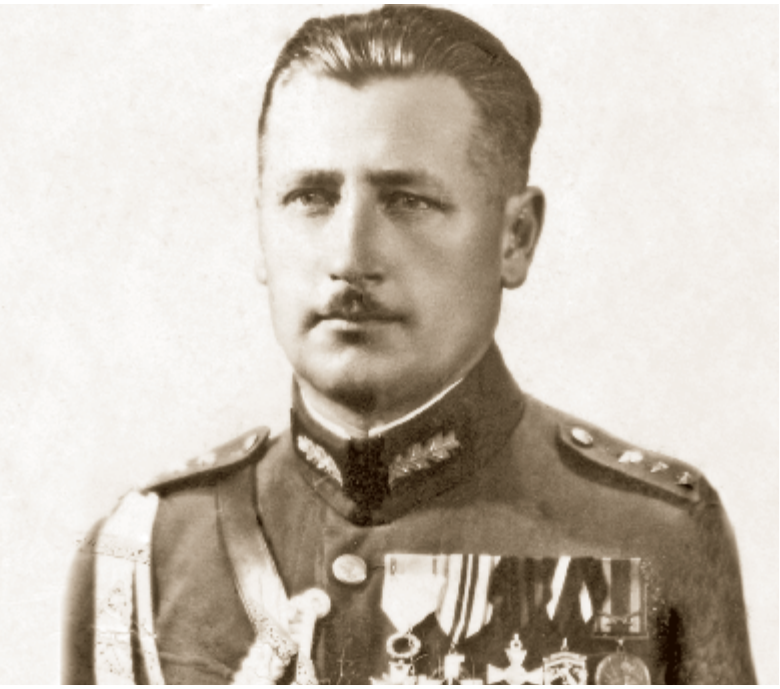
Отношения между людьми? Между собой ладили, но, конечно, были исключения. Случалось, бригадир не выдавал полностью рулоны с талонами за сданную рыбу, чтобы купить на них продукты. В первый год оставлял себе, а потом раздавал, кому хотел. Люди жили впроголодь. Была среди нас

Справа: Расма, Илмарс, Бирута. Латвия

Эдите Белая, она хвощ ела, расхворалась, я ходила в Носовую за 20 километров за лекарством. Идти через лес было достаточно рискованно, изредка попадались визитные карточки медведя, и тропинку порой приходилось отыскивать. Летом, конечно, было светло. Днем туда, ночью обратно. Страшно не было, мне, по крайней мере. Но когда я утром вернулась, Эдите уже умерла. Я пришла, ее выносили... Последние ее слова: «Посмотрите, не идет ли Расма?». Страшное это было переживание, когда человек умирает от голода, возможно, она слишком много хвоща съела. Если летом рыба ловилась, бригадир рулоны не выдавал, и после Нового года, когда рыба уже не ловилась, тоже не выдавал... Тяжелое было время.

В 1947 году я перебралась в Игарку. Мама заболела тифом, и ее отпустили в Игарку, где был брат. Он сам вернулся с озер. Я работала у брата на рыбацких суденышках, в центре. Там был огромный невод, длиной чуть ли не на полкилометра. Работали посменно, два механика и мы с братом как штурманы. Ближе к осени мы приехали в Игарку. Там мы рыбы ели, сколько хотели, – сын председателя колхоза плавал механиком, запрыгнет в лодку и привезет столько рыбы, что всем хватало, он ничего не боялся. А когда мы были на озерах, хорошей рыбы не давали, всякую мелочь. Когда мы с сестрой вернулись домой, – бабушка нам прислала на билеты денег, – оказалось, что ее выгнали из дома, и разместилась там колхозная контора. Приняли бабушку соседи. Мы жили с ней вместе. Я работала на молочном заводе. Сестра оставалась с бабушкой, так как та была больна и вскоре умерла от рака. И я тогда уехала в Кулдигу к папиному брату. Сестра осталась в Екабпилсе. В Кулдиге я устроилась в автохозяйство. Оттуда меня и взяли. Сестра потеряла паспорт... Я узнала, что ее взяли, решила, что и меня, вероятно, возьмут. И взяли – через пару месяцев. Везли нас отдельно. Сидела в тюрьмах, и в Рижской тюрьме сидела. Как только

Справа Рита. Брат Илмарс приветствует Карлиса Улманиса



Отец Александрс

забрали, сразу же отвезли в Центральную тюрьму. Таких, как я, было много. Обратно в Сибирь везли в арестантских вагонах и обращались с нами, как с заключенными, – ходили мы, держа руки за спиной. Потом в России прошла по многим тюрьмам, сидела и в Красноярске. Сразу в Игарку попасть не могла – река стала. Отвезли меня в Енисейск, в Маклаково, на лесопильный завод, там и сплавом занимались. Мы с сестрой хотели быть вместе, нам разрешили. Оказалось, что она находится там же, неподалеку. Оттуда отправили нас на озера, рыбачить. Было трудно. Одно время было нас всего четверо, пятый бригадир. Пешим ходом шли через тайгу. На озере стоял рыбачий домик, в том месте, где озера соединяются. Послали меня приготовить рыбу. Я пошла и заблудилась – не могу найти эту сторожку. Они долго меня искали, Иварс на лошади все объездил, кричал, звал, пока я не услышала и не откликнулась. А потом оба не знали, в какую сторону идти. Решили, что лошадь нас выведет. И она по своим следам вывела нас, спасла... Заблудиться там ничего не стоило... Было это на Курейке.

Дружили ли вы с кем-нибудь из парней? С русскими ребятами не было никаких отношений. Были там и немцы. Если говорить откровенно, Паулис очень ко мне был привязан, но он был моложе меня. Танцевала больше с Андрисом, он был из Риги. Осужден был на год, что-то в школе натворил. Мама все говорила – он человек вольный, что это ты с ним... У нас была там молодежная компания, встречались, пели, но о замужестве и мысли не было. Паулис, правда, говорил, что женился бы на мне, если бы не Андрис...

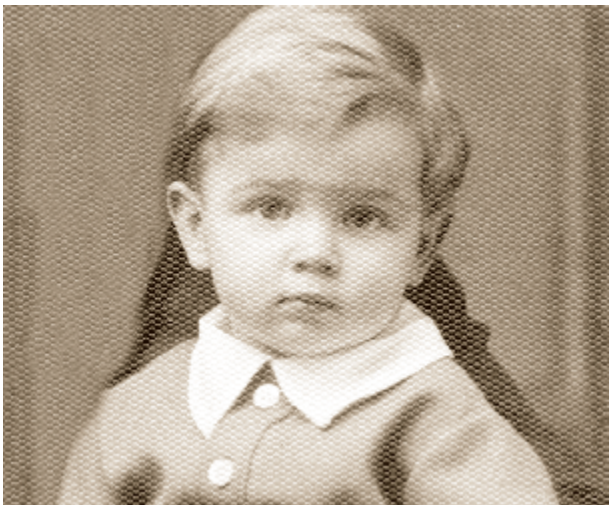
Были на озере, где были и немцы. Две будки были, в одной жили и калмыки. Я была ответственным звероводом, и если мне надо было помочь, всегда вызывался Андрей. Всегда готов был помочь. С нами был и Илмарс Кнагис, но он помочь не торопился. А вот немец этот... Шапку долой!

Тоска о Родине никуда не исчезала. Часто пели песни о родине. Собралось нас несколько девушек, у всех голоса неплохие, даже выступали как-то. Сказали нам только, что уж очень грустные песни поем... Тоска у всех была. Условия на озерах были тяжелые. Но когда оказалась в Игарке и меня взяли на работу, хоть я нигде и не училась, было уже лучше. Я с детства хотела учиться в Кауминдской школе, рукодельницей была. И досталась мне более или менее человеческая работа. Вначале и в Игарке было непросто, но с условиями, что были на озерах, не сравнить. Пробьешь прорубь, оттуда вода, лед... А на ногах брезентовые сапоги, веревочкой подвязанные... Ноги и обморожены были, и в язвах. Тогда Кошелев сказал: «Не годишься ты рыбачить, поезжай к маме в Игарку». И когда из Носовой приехали счетовод и немец, кузнец, можно было уехать. Но счетовод брать меня не хотела, а дядя Саша, немец этот, сказал, что взять надо. А лошади, как только ступят с дороги, тут же в снег проваливаются. И тогда мы с этой женщиной шли перед санями и нащупывали дорогу палкой. Добрались до Еремино, потом и в Плахино. Все было...

Приехала я в Красноярск, когда уже разрешили передвигаться по всей области. Уже год жила в Красноярске, работала закройщицей. Муж мой жил в 40 километрах от Красноярска, в совхозе. Он узнал, что я в Красноярске, узнал, что девушка, которую он когда-то знал, работает в Красноярске, и мы вместе поехали домой. Я хотела выйти в Екабпилсе, но он меня не отпустил. И мы приехали в Лиепаю, где у него жил брат. Но оставаться там не могли. В Отаньки жила его нянечка, такая Кулените. Какое-то время у нее жили, потом переехали в Елгаву, к сибирским знакомым. Через них вышли на госпожу Петерсоне, которая нас приняла. Жили у нее года три и принялись строить дом. Приехали в 1957 году, поженились, в 1961 году здесь поселились. Сначала недолго жила дома, потом устроилась в ателье, где проработала всю жизнь.

РОМАНС УЗТУПС

родился в 1931 году



Отец занимался торговлей, мать – домашним хозяйством. Детей было двое – я и сестра, которая родилась в 1929 году. Жили в Валмиере, на улице Цесу, 2. Отцу принадлежало также хозяйство «Бришкас».

Утром рано зашел наш служащий, сказал: «Хозяин, бегите! Приехали за вами, бегите через мою квартиру!». Мы жили на верхнем этаже. Дом окружили. Вошли двое знакомых отца, латыши. Собрали вещи, посадили нас в машину и отвезли на станцию. Отца тут же увели – последний раз я видел его на вокзале в Валмиере...

Нас запихнули в вагон, было там человек 30. Когда мы миновали границу, сказали, что немцы уже в Латвии. А везли нас так: на станциях по три дня стояли в тупике. В день приносили ведро воды. Привезли в Ачинск, поселили на старой мельнице, продержали неделю, потом повезли в деревню Таловка. Жили там латгальцы с 1919 или с 1917 года, жили очень бедно. Мама работала в лесничестве. Я пять дней походил в школу, говорить не умел, учиться не мог. Так и остался безграмотным. Сестра умерла в 1941 году – заболела, врачей не было. В 1942 году чекист сказал, чтобы подыскали место получше и работу другую. Ушли в соседний колхоз. Там жили богаче, перевезли скарб на саночках, за семь километров. Председатель колхоза был хороший человек. Нас поселили в телятнике, жили вместе, жить стали лучше. Разговаривать научился, но учиться не мог. Пошел работать, подвозил горючее, был конюхом. Было 60 лошадей и три конюха.

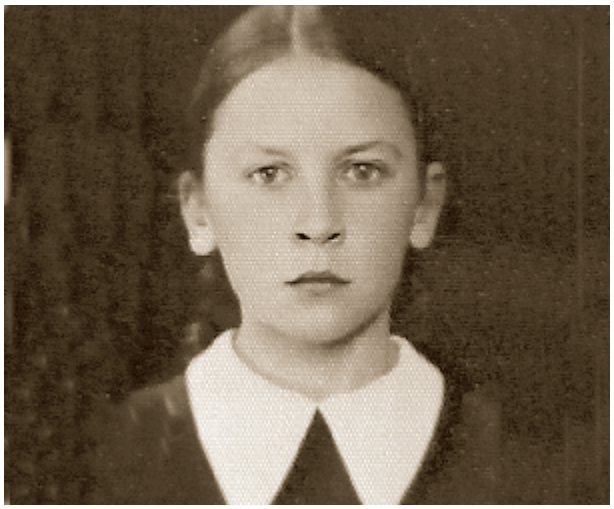
Самые трудные были первые два года. Сестра умерла, мама работала в леспромхозе, на лесосеке, пилила дрова. Чем болела сестра, не знаю, умерла она осенью 1941 года. В 1959 году приехал в Латвию, под конец там уже хорошая жизнь была, но мама хотела уехать. Я уезжать не хотел, я уже дом построил. Пришлось продать, скотину тоже. В Латвии нас никуда не пускали. В Валмиерской думе сказали: «Стройте дом!». Мама ответила: «Мы уже три дома построили». Пришлось идти в колхоз. Потом купили в городе маленький дом, потом этот. Живу в пятнадцатом по счету месте, нервы уже никуда.

Прислали справку о смерти отца – умер в 1941 году от сердечной болезни. Реабилитировали его в 1960 году. Мама была образованная. Приехали в Латвию. Был здесь мировой судья Петерсонс, она все время писала, спрашивала про отца. Приехал из Риги один, советовал возвратиться в Россию, думал, что это я пишу жалобы. Сказал, что отправить меня не получится, я писать не умею. Писала мама и мировой судья, спрашивали – за что выслали? Писали и за границу.

В Сибири жил не хуже, чем здесь, – и в свободной, и в несвободной Латвии. Землю отцовскую вернуть не смог, дом вернули. Спустя какое-то время жена дважды ездила в Сибирь, и я один раз был там, где жили когда-то. Сейчас там асфальт, живут хорошо. Там земля богаче, известь. Алюминий, не голая Латвия.

Самые трудные были первые два года. Сколько давали хлеба, не помню. Всю одежду обменяли на провизию. Голодали. В колхозе было хорошо. Так жизнь и прошла...

Самые трудные были первые два года. Сестра умерла, мама работала в леспромхозе, на лесосеке, пилила дрова.



ГЕРТРУДЕ УЛМАНЕ (БУКА)

родилась в 1927 году

У меня был брат Хуго Улманис, родившийся в 1921 году, мама Лидия и отец Александрс Улманис.

Отец работал в полиции, мама вела домашнее хозяйство. Имели средний достаток. Когда в 1940 оду вошли русские, отца сразу же уволили с работы. Какое-то время жили трудно, потому что работу найти было трудно.

Наступил 1941 году, ходили слухи, что отца арестуют, но что репрессируют семью, никому и в голову не приходило. В понедельник мы собирались уезжать в деревню, 14 июня была суббота. В три часа ночи раздался звонок в дверь, вошли три армейских, один еврей и один из гвардии. Подступили сразу же к отцу, приказали за полчаса собраться. Мама заплакала. В маленькие чемоданчики я сложила для каждого пару белья, подушку и одеяло каждому под мышку. И нас вывели на улицу. В машине шофер сказал: «Вы едете на станцию Шкиротава, и у вас нет с собой продуктов?» Отец попросил, чтобы разрешили вернуться, кое-что взять. Не разрешили сделать ни шагу. И шофер отдал свой трехдневный паек, хлеб и шпроты, тогда только разрешили.

Приехали. Дети, люди плачут. Увели обоих – отца и брата, но брата потом прислали обратно. Было нас 26 человек, спали вплотную. До границы двери не открывали. Ночью внесли ведро воды, пару буханок черного хлеба, я и сейчас его не покупаю, напоминает Сибирь.

Когда переехали границу, дверь приоткрыли, оставили щелку. Поезд заводили на запасные пути, стояли по три дня, пропускали идущие на фронт военные эшелоны, выносили мертвых. Давали ведро воды на всех, находившихся в вагоне. Когда останавливались, одного человека выпускали за водой. Черпали, где только можно, пили и ржавую. Вместо туалета в вагоне была дыра и труба.

Везли до Новосибирска, потом пересадили на пароход, затолкали в самый низ, спать было негде. У мамы распухли ноги. Везли вниз по Оби, потом по Васюгану. Распределяли по деревням. Нас высадили в деревне Волков Бугор – на самой горе. Местные оказались людьми неприветливыми, хотя и сами были из ссыльных. Мы – фашисты...

Поселили у местных, это было ужасно. Было там всего 10 домов, спали на полу, днем все вещи надо было убирать. Отправляли на сельские работы и в лес. Комары одолевали... Жили там месяц-полтора, потом отправили нас на сплав. Мне было 14 лет, считалась работником. Бревна на берег Оби таскали до самой осени.

Мама заболела дизентерией, ее отвезли в больницу. Нас с братом высадили на берегу Васюгана, по реке уже шла шуга, вот-вот замерзнет. И тогда русская женщина сжалилась над нами. Отец ее мужа был священник, у самой у нее было двое детей. Комнатушка маленькая, ночью спали вплотную друг к другу. Когда мама вернулась из больницы, нами стал интересоваться комендант.

Поселили в детском саду. Забили досками, сделали перегородку, жили там трое поляков и эстонцы, мы посередине. Была плита, мы перебирали колхозную картошку. Хлеба давали по 500 граммов, заработать нельзя было, самое страшное, что мы были голые. Вывезли нас во всем летнем.

Эпизод – колхоз возил молоко и сметану за 10 километров в Бандарку на лошадях. Воз опрокинулся, крышка с бидона отскочила, и сметана

Весной пришла баржа с мукой, пшеном, со всем чем. Привезли и одежду из госпиталей, еще окровавленную.

вылилась на снег. Ссыльные собирали этот снег и складывали, кто куда мог.

Время было очень трудное. Мама ходила с распухшими ногами. Была хорошая семья Рублевых, им самим приходилось трудно, двое детей. Жили в землянке, ни простыней, ни одеял, никакой обуви. Устроили брата на завод, где делали лыжи для армии, там давали 800 граммов хлеба. Меня взяли мастерить бочки. Выдали нам сапоги-чулки, мы были босиком. Разбили маленький огородик. Выходных не было – как только выдавалась свободная минута, пилили местным дрова, ножами скоблили столы добела, за это давали несколько картошек.

Летом собирали черную смородину, заячью капусту, лебеду, дождевики. Посадили картошку. Ближе к осени приехали и сказали: «Собирайтесь!» Куда? Не говорят. Привезли на берег Оби, в «Военторг». Как же я плакала! Все оставить надо! Картошка же посажена! Комендант выполнил свое обещание, взял меня обратно с собой, я сумела накопать два мешка картошки, морковь, свеклу. Работали в Казанцево, я работала на засолке рыбы, стала мастером, работа была тяжелая. Носилки на 100 килограммов, а сил нет, из рук выскальзывали. Лямки на плечо накидывали. Но хоть работа и была тяжелая, мы, по крайней мере, были сыты. Достали комнатушку на берегу Оби. По Оби проложили зимник. Если мимо шли латыши, обязательно к нам заходили. Хоть рыбным супом из костей, но накормим, спать уложим.

Каждый месяц надо было регистрироваться, комендант был очень неприветливый, каждый месяц спрашивал, были ли в семье айзсарги, мазпулки, скауты у них считались.

Сменил его нормальный комендант, Геня, говорит, к тебе жених едет. Пошла взглянуть, картина грустная. Было это в 1949 году. Удивился, что я с ним по-латышски поздоровалась, спросил, как я тут оказалась. Сказала, что с 1941 года, удивился – вы, говорит, еще живы? Приехала машина-вошебойка. Шкафов не было, были сундуки, надо было открывать, все доставать, проверяли кровати, волосы. Если находили, всю одежду надо было закладывать в вошебойку. Вшей у нас не было, хотя не было и мыла. Вываривали в щелоке. А раньше и одежды не было. Осенью река замерзла. Весной пришла баржа с мукой, пшеном, со всем чем. Каждому выдали по три килограмма. Привезли и одежду из госпиталей, еще окровавленную.

В один прекрасный день мимо шел из Томска мой будущий муж...

Я была конюхом, дали мне простыню, полотенце, две наволочки, немецкое трикотажное белье. Из него мама пошила мне нарядную блузку. Встретилась с мужем, это были еще сталинские времена. Он остался у нас на три дня. На берегу Оби он сделал мне предложение и сказал: «Ты никогда не будешь есть сухой хлеб, только политый слезами». Знаменательные слова. Прожили мы с ним 53 года.

Его отправили в Каргасок, в центр. Мы без разрешения никуда не ходили. Я достала разрешение пойти к зубному врачу, и в Каргасоке мы зарегистрировались. День был холодный, я была в валенках и в платье из мебельной ткани. На Миервалдисе была соштукованная из лоскутов куртка, брюки вместо пуговиц держались на проволоке. Вместо рубашки манишка и воротничок. Жили в Каргасоке. Отмечали Лиго, собрались у нас латыши. Одной не понравилось, что ее не позвали, и она нас выдала. Выслали нас в третий раз, по Васюгану в Мелжино. В самую тайгу. Построили домик. Родились сын и дочка.

Написали просьбу на имя Вилиса Лациса – нельзя ли вернуться? И нас отпустили. В 1957 году приехали в Латвию. Здесь нас никто не ждал, жилья не дали. Получили в бараке на болоте, в четырех километрах от Сигулды, квартиру. Ночью вода в ведре замерзала, крысы бегали. Четыре года там прожили. Потом Цирценис сжалился, дал в Тожи тринадцатиметровую комнату с электричеством. Как мы были счастливы! Там прожили 24 года. Потом появился у нас ливанский дом.

Об отце ничего не знаю, только то, что он реабилитирован. Скажу откровенно – хотела бы один разок слетать в Сибирь, посмотреть, как теперь там все выглядит. Когда уезжали, продали корову, поросят, дом, чтобы иметь деньги на дорогу.

Рассказываю, а у самой сердце болит. Разве же отцы наши жить не хотели? Мама вернулась, сейчас лежит на Турайдском кладбище. Нас и сейчас за людей не считают. Дали нам латов чуть больше – и этим в нос тычут. Разве же родители не хотели жить? Это обижает, ожесточает. Дай нам Бог здоровья...

ГУНТИС УЛМАНИС

родился в 1939 году

Мой рассказ – об очень далеких временах, о моем раннем детстве, о 14 июня 1941 года. Мне был год и почти 10 месяцев, и меня вывезли в Сибирь.

Я жил с мамой в Риге, но 14 июня мы поехали к бабушке в «Падули» под Кулдигой. Чекисты взяли нас в «Падуле», в бабушкином сельском доме.

В это же время в квартиру на улице Стрелниеку явились чекисты, в их списках тоже значился Гунтис Улманис. И чтобы «с честью» выполнить возложенную на них обязанность, они поставили галочку там и там – Гунтис Улманис в Сибирь вывезен... Так и появилось в документах, что вывезли меня дважды. Через Скрунду, через Ригу, через станцию Шкиротава, где сортировали людей – мужчин, женщин, детей, стариков...

Должен сказать, что мои воспоминания сливаются с воспоминаниями моих родственников, ведь в таком возрасте, что естественно, реальные воспоминания появились уже на заснеженных просторах Сибири или в заваленной снегом деревне в глубине кедровой тайги. В моих воспоминаниях тех лет сохранились только бревенчатые избы, в которых нас с бабушкой селили и где мы выжили...

Годы в Сибири было недолгими, по сравнению с теми, которые выпали на долю тех, кто не вернулся, чей страдный путь был таким долгим, что ему не видно было конца. Но те, кто вернулся, десятилетиями изживали боль, страдания, потери... Моя судьба в этой трагической ситуации была благоприятной. После войны благодаря тому, что рядом с мамой был человек, который не был выслан, я вместе с мамой и с новым маминым другом вернулся в Латвию.

Не припоминаю, чтобы обо мне кто-то проявлял особую заботу. Похвала бабушки, ласка были редкостью, возможно, мимоходом, когда было особенно трудно.

О Сибири столько говорено, столько уже рассказано, но есть акценты, которые могут быть интересными. Сам я не люблю во всеуслышание вспоминать эти годы, ведь со временем в жизни появились иные ценности, которые, слава Богу, заслонили этот трагический период и сделали жизнь намного богаче и интересней... Но мы обязаны все это помнить, оставить своим детям и внукам, просто для того, чтобы это больше не повторилось!

Помню, как я, уже будучи взрослым человеком, окончившим институт, зашел к родителям жены, и тесть, который и сам когда-то был репрессирован и по традиции держал в прихожей топор, сказал: «Какой же я был дурак! Топор был в дровянике, если бы был в прихожей, меня бы наверняка не увезли». Ну, вероятно, это было проявление чисто мужской черты, но я думаю, что подобный опыт позволил бы нам быть более предприимчивыми и решительными. Но это уже другая проблема, которую надо решать политикам и руководителям нашего государства – чтобы опыт этот никогда не повторился, но чтобы о нем никогда не забывали и в то же время чтобы это не было основной жизненной мотивацией, главным в нашей сегодняшней жизни.

Мой отец был одним из менеджеров или организаторов цементной фабрики «Шмитс». Мама была домохозяйка, ответственную работу, с государственной точки зрения, не выполняла. Так можно сказать...

Мы жили в съемной квартире на улице Стрелниеку, обо мне заботились как о члене семьи президента, может быть, именно это и позволило пережить эти пять лет ссылки прак-

тически без еды, без лекарств, на том минимуме, который давал возможность дышать и ходить. Как и многим прожитое в Латвии время – пусть даже и недолгое – позволило чувствовать себя намного крепче.

Бабушки – и со стороны матери, и со стороны отца – были простые крестьянки. Мать отца была хозяйкой хутора «Эзерклейши» под Добеле, бабушка с маминой стороны хозяйничала в «Стрели», что в окрестностях Падуре. Хутор «Стрели» существует и по сей день, «Эзерклейши» сгорели, но я с разрешения волости перенес название сюда. И теперь принадлежащий мне участок земли носит название «Эзерклейши». И еще интересное совпадение, – сознательное или случайное, – но бабушку с отцовской стороны звали Паулине, а внучку мою зовут Паула. И, возможно, хозяйку «Эзерклейши» когда-нибудь будут звать тем же именем. Только «Эзерклейши» не постигнет такая судьба, которая постигла многие сельские дома в 1941 году.

О других членах рода Улманисов, полагаю, рассказывать мне не стоит. О них достаточно известно.

Фактически мои первые воспоминания о Сибири – это река Кан, село Буганай. Я не изучал историю места своей ссылки. Мне казалось неинтересным возвращаться в те места, с которыми связаны, возможно, самые черные страницы моей жизни. Село, куда нас привезли, находилось на берегу большой реки. Это была одна длинная улица с расположенными по обеим ее сторонам рублеными избами – так сказать можно только в крайнем случае, потому что, хотя они и были сложены из крепких и толстых бревен, но домом в полном значении этого слова называться не могли. Это были большие четырехугольные комнаты на крепком фундаменте и с прочной крышей, так как зимы были суровые. Я очень хорошо помню, как по утрам невозможно было открыть дверь, потому что снегом дом заметало по самую крышу. Я помню, что за рекой начинался вековой лес, который мы называли тайгой. Весной все жители села отправлялись за кедровыми орехами. Взрослые забирались на деревья, малышам надлежало подбирать с земли то, что упало. И вот однажды все бросились бежать. Я был единственным латышским мальчиком в этом селе. Этот рассказ очень похож на то, что рассказано в фильме «Долгая дорога в дюнах», где в дом местных жителей поселили высланных. Это и мы с бабушкой там пережили. Конечно, появился медведь, и все со всех ног мы помчались домой. Медведь подошел достаточно близко, но он ничего нам не сделал. Испугались мы больше, чем он намеревался на нас напасть. Такие вот отдельные картины...

Помню, было там большое кладбище. Как-то зимой ушел я далеко от дома, присел на одну из могил и, вероятно, задремал. Помню, как дома перед топившейся русской печью меня растирали и шлепали по щекам, чтобы я проснулся и пришел в себя. Возможно, я замерз или заснул, было мне, кажется, в это время года четыре или пять – такие вот смутные воспоминания.

А как доставали еду и одежду? Я бы так сказал – конечно, все это глазами ребенка – была одна одежда, которую носили с утра до вечера зимой и летом. Ее перешивали, пока еще как-то держалось. Вопрос об одежде для меня тогда не стоял, была какая-то одежда, в которой я ходил в Сибири.

Другой еды, кроме черного хлеба, смешанного с соломой, я не помню, может это были отруби, может быть, оставшиеся после молотьбы отсевки или полова. Это было военное время, а в Сибири это военное время было еще страшнее, потому что все отдавалось фронту. Если бы местные жители нас не спасли, мы бы, безусловно, не выжили. В это время были конфликты с чекистами, которые контролировали, отслеживали ситуацию. Не знаю, возможно, в памяти моей отложилось не совсем верное представление – мне казалось, что мы единственные высланные. Но, вероятно, в этом селе жили и другие, раз уж люди и в погонах, и без них контролировали ситуацию.

Жители села, в моем тогдашнем представлении, были отзывчивыми, радушными. Соленый огурец, картошка в чугунке, которую можно было варить, а потом есть несколько дней, – это была поддержка, которая позволила нам выжить. Помню, что незадолго до нашего возвращения в Латвию бабушке кто-то подарил козленка. И он вырос под стрехой дома в порядочного козла, а потом мы еще целый год угощались козлятиной, которая подавалась как деликатес и в очень маленьких дозах.

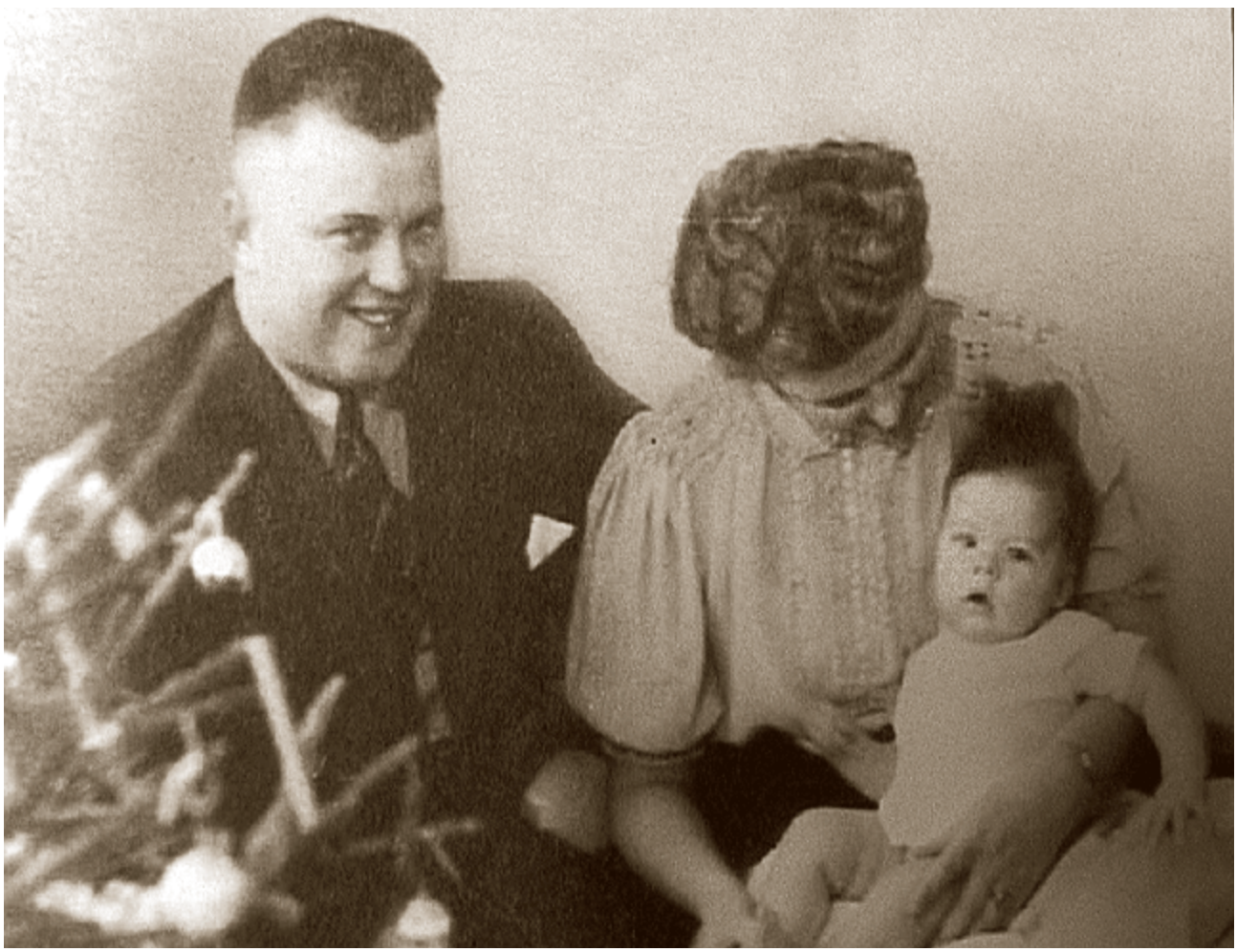
Дети любую критическую ситуацию переживают азартно, как приключение, и только потом, когда ты подрос, тебе рассказывают, сколько раз ты мог уйти на тот свет и сколько раз уберег тебя Господь, который, возможно, стоял рядом, потому что других помощников не было. Болели, но все болезни излечивались чистой водой и пластырями – это были единственные лекарства. Были критические

ситуации, когда казалось, что выхода нет, но кризис проходил, и на следующий день уже можно было жить дальше.

Вас брали с собой на работу или вы оставались один? Работа в селе была не развлечением, не твоим личным выбором, и, очевидно, за работу полагалось какое-то вознаграждение. Я с уверенностью говорить об этом не могу. Но помню время, когда я надолго остался один, а потом оказалось, что бабушка вместе с другими женщинами ночью пошла набрать картошки, их поймали, посадили в тюрьму. Тюрьма находилась в землянке. Их продержали несколько дней, несмотря на то, что бабушка сказала, что дома маленький ребенок остался один – это никого не интересовало. Через три-пять дней она вернулась, и только потом я понял, что власти изменили свое решение и что все эти женщины были отпущены.

А что вы делали эти три-четыре дня? Видите ли, дети в то время были чрезвычайно самостоятельными, и я не исключение. Одеться, найти картофелину или корку хлеба не было проблемой. Это не был и выбор. Я просто сидел в комнате и время от времени посматривал в окно, потом взобрался на русскую печь, где было постелено одеяло, а может быть, какая-то старая шкура, в общем, что-то похожее, поспал, потом спустился, походил, так дни и шли. Время в этом возрасте проходит быстро, но одно точно помню – никакого отчаяния не было. Возможно, плакал, но я все время ждал. И, очевидно, дождался. Не скажу, что меня охватило желание куда-то бежать, кричать, я просто ждал, что что-то должно произойти. Женщины в этом русском селе имели привычку время от времени заходить друг к другу в гости, так что, я думаю, и в эти дни кто-то заглянул, что-то мне принес, и жизнь продолжалась. Но никто меня к себе не забрал, это я помню точно.

Я не думаю, что стоит так подробно копаться в прошлом, травмировать человеческую душу, ведь тому, кто сам подобное пережил, трудно об этом говорить, никакие слова не способны передать те



Отец Эдуардс, мать Вера и Гунтис

ощущения, то, через что пришлось пройти. Но в то же время, преодолев трудности, человек становится сильнее. Это парадоксально, но мне довелось встречаться с высланными когда-то людьми уже очень почтенного возраста. Это чрезвычайно сильные, самодостаточные и очень ответственные люди. Они в своей жизни столкнулись со столь превосходившей их силой, с такой черной властью, что каждодневные трудности они переносят как само собой разумеющиеся и даже простые вещи. Помню, как из Сибири вернулись мамины братья, постепенно и остальные родственники. До 1949 года, когда поднялась вторая волна и когда их снова вывезли в Сибирь. Вернулись они, можно сказать, овеянные славой, – как лучшие мастера, лучшие каменщики, лучшие труженики, ибо латыш, будучи в ссылке, привнес в российскую действительность свой дух, свое мастерство, свою жизнестойкость, упорство, и, мне кажется, это помогло многим латышам выжить и обрести силы.

...Отца вывезли в Сибирь в 1940 году, почти одновременно с Карлисом Улманисом. Деда забрали тоже в 1940 году, и их обоих в 1942 году в Гулаге уничтожили. Нашлись люди, которым удалось уцелеть, и они вспоминали последние дни отца и деда. Безусловно, по прошествии стольких лет никаких сомнений в дальнейшей судьбе этих людей ни у кого не осталось. Многие очень дальние родственники нашей семьи погибли. В 1941 году я фактически был уже без отца. Я его не помню совершенно, родился я в сентябре 1939-го, его забрали в 1940-м.

Мать познакомилась с другим человеком, очевидно, у него был иной взгляд на детей, на род Улманисов, он не хотел, чтобы я жил в его семье. И меня отдали на попечение бабушки и маминых братьев, которые жили вместе с ней на хуторе «Кажоки» под Эдоле. И вот в 1949 году во дворе вновь появились люди в зеленой форме и всех нас согнали в машину. Позже выяснилось, что меня в бумагах нет, и меня из машины высадили. И тогда на хуторе, совершенно разоренном, я остался один, между прочим, сейчас дом приведен в порядок, ухожен. Прожил я там несколько недель, пока мама не узнала, что ее родные вывезены и что я остался один. Но и эти сведения она получила с опозданием. Просто соседи узнали ее адрес и сообщили обо мне. Я приехал к маме в Ригу, и всю остальную жизнь прожил с ней и отчимом. Это была не совсем сладкая жизнь, но это уже заботы и печали каждой семьи. Я эти факты не хотел бы обобщать.

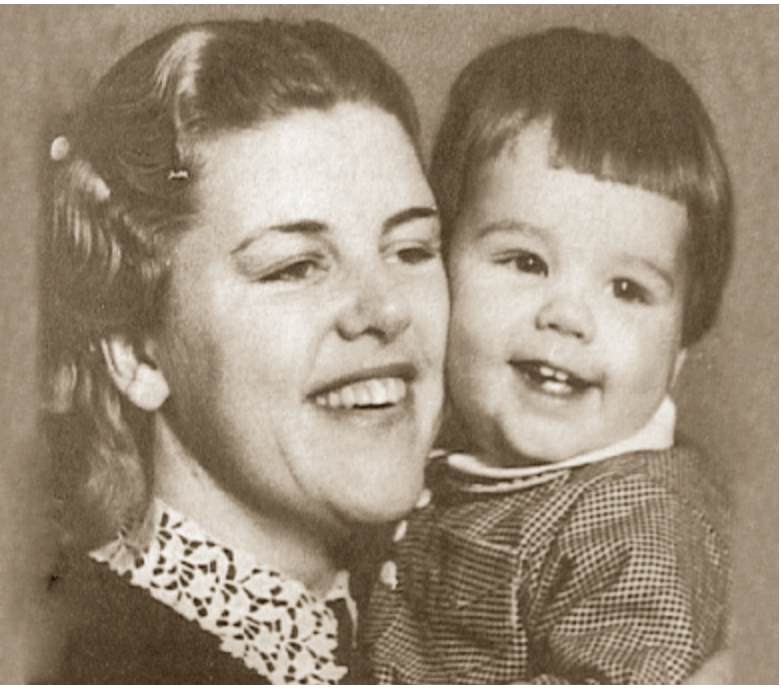
Как вы оцениваете важнейшие периоды высылки? Власть разделила, как я уже говорил вначале, мужчин, женщин, детей, стариков – это была жестокая сортировочная машина, не знавшая жалости. Я фактически так привязался к бабушке, что особых сожалений по поводу того, что рядом нет матери, у меня не было. Моей мамой была бабушка, а в трудные времена с детьми не особенно считались. Важно было всем выжить и думать о будущем. Но я думаю, что и мамина жизнь сложилась трагично, сын как будто бы есть, но в то же время жизнь распоряжалась по-своему, нормальная жизнь была в первые полтора-два года, потом все было порушено. Было бы жестоко и безосновательно винить сейчас кого-то – одного человека, маму или кого-то еще – это было такое время и такая жизненная трагедия, которая перемолола нас всех. Я думаю, что я еще в какой-то мере счастлив, что у меня была бабушка, потом была мама, ведь были дети, оставшиеся без родителей, разлученные с родителями, которые были отправлены в лагеря и с которыми они так никогда в жизни и не встретились.

Ваш мир – это были вы и бабушка? Это было основное в жизни, да. Фактически бабушка всю жизнь считала меня своим третьим сыном. У нее было два сына и дочь, и до 10 лет, если не считать, первых дней жизни, воспитанием моим занималась бабушка. И все последующие годы бабушка была тем человеком, который понимал меня лучше всех...

Бабушка вернулась из второй ссылки и дожила до почтенного возраста, а сейчас и мама, и бабушка, обе они лежат на Яундубултском кладбище. Когда нас выслали, фактически стояла задача уничтожить весь народ. Так что уже не вопрос – ЗА ЧТО, этот вопрос уже никто не задает. Хотя Россия по-прежнему этот демагогический вопрос ставит – за что каждый был сослан?

Что повлияло на ваш характер? Вы не ожесточились? Могут ли отдельные события изменить характер человека – это еще вопрос. Но я бы не сказал, что Сибирь ожесточила меня, превратила меня в человека злого. Может быть, Сибирь научила меня никогда не отчаиваться, а карабкаться, искать выход из сложившейся ситуации, изменить ее в свою пользу.

Мелкие эпизоды случались – я тонул в Кане. Деревенские мальчишки пошли купаться, я сидел один на берегу, было мне четыре или пять лет. Они плавают и, конечно, смеются надо мной, что я плавать не умею. Я с разбегу бросился в реку, не думая



Гунтис с матерью Верой

о том, чем все кончится, решил, раз все на воде держатся, удержусь и я. Мальчики меня вытащили, и через пару таких же случаев я уже плавал довольно прилично. Возможно, это пример того, как надо проявлять настойчивость.

Не припоминаю, чтобы обо мне кто-то проявлял особую заботу. Похвала бабушки, ласка были редкостью, возможно, мимоходом, когда было особенно трудно. Взрослые все-таки были потрясены случившимся, я думаю, радости и счастья там не было. А дети привыкли к такому отношению, и каждый впоследствии формировался как уж у кого получилось.

Мой отец когда-то мечтал, что у него будет 12 детей. Когда я родился, возле моей кроватки стояла огромная фотография, на которой было много детей. Такую цель наметил себе отец в жизни, создавая семью. Очевидно, эти его гены, его отношение к детям передались и мне. Я очень люблю своих детей, люблю детей вообще. И мне странно, когда в обычных поступках – то ли ты погладишь ребенка по головке или обратишься к нему ласково – кто-то усматривает актерство, популизм. Нет, по-моему, не надо стыдиться добрых чувств по отношению к детям, к тем, кто растет, возможно, не в самых благоприятных условиях. Помню, как 15 лет назад поехал я в свою родную школу в Эдоле, где я учился в первые годы после возвращения из Сибири. Набил машину детьми до отказа и развез по домам. Много детей и в школе осталось, и я сказал: «Ждите, приеду и за вами!» Я не считал это обязанностью, мне это доставило радость. Так что надо заботиться и о взрослых детях, таких, как мои, и о малышах, о внуках. И я надеюсь, что это мне удается.

Как вы считаете, нужно или нет говорить о том, что вам довелось пережить в детстве? Дети проявляют минимальный интерес к тому, что происходило с нами после Второй мировой войны. И надо ловить момент, когда у них этот интерес просыпается, чтобы его укрепить. Я против формальности в этом процессе – категорически все должны знать то-то и то-то... Мы лишь услышим в ответ: «Мне это неинтересно!». Нужно найти подход к каждому ребенку, и сделать это должны родители, педагоги, обычные люди, которые встречаются с детьми. Ибо жизнь народа – это многие и многие сотни лет. И эта страница в истории народа – одна из самых черных страниц, но в то же время и одна из самых ярких – и забывать ее нельзя, в противном случае мы утратим свою сущность, свои убеждения. И если сейчас в ребенка заложить эти знания, то он, когда вырастет, вспомнит об этом, и так это станет достоянием следующих поколений.

Что касается исторической памяти. У каждого народа в памяти хранятся свои исторические события, которые, если можно так выразиться, шлифуются, обновляются, сохраняются, проходя сквозь столетия. У каждого народа свои герои, по ним мир познает этот народ. И когда я, будучи президентом государства, приглашал руководителей других стран посетить наш Музей оккупации, они начинали лучше понимать наши мысли, наши убеждения, наше отношение. Это действует лучше, чем если бы мы рассказывали об этом десятки лет. И если мы прошли через Сибирь, каждому в мире, независимо от национальности и должности, становится ясно, что этот народ у Балтийского моря выкован из особой стали и на него можно положиться! Именно так! Посещение Музея оккупации оставляет на высшем руководстве государств сильнейшее, неизгладимое впечатление. И после посещения музея переговоры проходят намного конструктивнее и углубленнее. Поэтому я считаю, что на том, что произошло с нашим народом в минувшем столетии, не надо зарабатывать, это надо крепить и передавать как основу следующим поколениям – быть сильными, смелыми и стойкими. И может быть, это самое главное, почему мы сегодня возвращаемся к этой теме...

ГУНАРС УПЕНИЕКС

родился в 1927 году

До 1940 года у меня было счастливое детство. Отец был старшим командиром айзсаргов Терветской волости, командиром 1-го батальона 60-го Елгавского полка айзсаргов. Мать тоже командовала женским батальоном айзсаргов в Тервете, в то же время они владели хозяйством «Пунтес» в Терветской волости. Хозяйство по тем временам было довольно приличное – 53 гектара земли, более 20 коров, семь лошадей, свиньи и другая живность.

Один год прожили при русских. К тому времени я окончил начальную школу имени Анны Бригадере и начал учиться в Пенкульской школе.

В 1941 году дом национализировали и выгнали с вещами, которые можно было уложить в две повозки. Мы переселились к дальней родственнице отца в Сесавскую волость. Я поступил в 5-й класс Елгавской средней школы имени 15 мая, на том моя учеба и завершилась, так как 14 июня нас арестовали, посадили в товарные вагоны и вывезли в Сибирь. В это время и отец, и многие окрестные крестьяне со своими лошадьми и телегами были мобилизованы на строительство русского аэродрома возле Глуди. На несколько недель.

К тому времени у меня уже была своя библиотека – около 100 книг, и я в комнатке на чердаке как раз читал Майн Рида, когда вдруг услышал внизу крики. У меня гостили двоюродные братья из Риги, и все вместе мы спустились вниз. И увидели там жуткую картину: на стуле сидит моя сестра Мэрия, на два года старше меня, и чекист чуть не тычет ей в лицо пистолетом, пытаясь выяснить, где мать и отец. А мама в это время отвозила отцу обед в Глуди. Сестра испугалась. Он сказал: «Собирайтесь, уложите вещи в два мешка, мы вас увозим». Я стоял в растерянности, а сестра схватила мешки и стала кидать в них все подряд. Потом там оказалась одна туфля и масса ненужных мелочей, а то, что нужно, не взяли.

В повозку посадили меня с сестрой и 82-летнюю тетушку, отвезли на станцию в Сесаву и, испуганных и ничего не понимающих, запихнули в подвал. Потом отвезли в Элею, где стоял эшелон с товарными вагонами, затолкали в вагон. Мы были в полнейшем отчаянии – ни мамы, ни отца. Вагоны тронулись, и привезли нас в Елгаву. В полу вагона четырехугольное отверстие, как для скотины, это и был туалет. Двухэтажные полки из досок. Ночь провели ни живые ни мертвые. На следующее утро открылись двери, и в вагон затолкнули бабушку.

Отца так никогда больше и не видели. Его увезли в Кировскую область, на станцию Белесную, там погибли сотни и тысячи. Старую тетушку вывели из вагона на тротуар, без денег, без ничего, им она была не нужна. Слышно было, как в вагонах поют «Господь наш, крепость наша» и «Боже, благослови Латвию!». О том, что началась война, узнали в России, когда навстречу шли эшелоны с военной техникой, с танками и бронемашинами, с солдатами, и нам по несколько суток приходилось стоять на запасных путях, пропуская воинские эшелоны.

До Красноярска ехали около месяца. Дыру в полу кое-как занавесили. Мне повезло ехать на верхней полке возле окна, хотя оно было маленькое и забрано решеткой, но я видел Урал. Дважды поезд останавливался в открытом поле, на километры вокруг ни души, нас выгоняли из вагонов справить нужду, там же, на месте, это было ужасно.

Вынесли мертвых – многие младенцы не выдержали долгого пути.

Интересно, что в селе было 200 домов, но ни одного туалета я не видел. За сарайчиком, за хлевом, в ведро и в огороде...

В Красноярске загнали в длинный барак, потом погнали всех в баню. Со стороны станции видны были Красноярские Столбы. Через день или два снова посадили нас в поезд и отвезли на станцию Заозерное, высадили человек 50–100, вокруг ходили председатели местных колхозов и, как на невольничьем рынке, выбирали тех, кто посильнее.

Наступило 1 сентября, и наши мамы решили, что нам надо идти в школу. Стояли там два дома – большой и маленький. Я зашел в большой, увидел на двери римскую цифру шесть, зашел и сел за парту. Вошел учитель, удивился, подошел ко мне, стал что-то говорить, я, конечно, ничего не понял, тогда он положил мне руку на плечо и отвел в маленький домик. Там на двери была цифра один. Зашел я, а там уже все мои приятели сидят, я устроился рядом. Вошел учитель, под два метра ростом, кожа да кости, вероятно, чахотка, оттого и в армию не взяли. Все шестеро мы аккуратно ходили в школу целую неделю… Да, в первый же день нам каждому выдали тетрадку в клеточку и карандаш. К нам он и не подошел, не поговорил – мы были для него пустое место. Всю неделю он учил с русскими ребятами стихотворение, его я и сегодня помню: «Села кошка на окошко, замурлыкала во сне, что тебе приснилось, кошка, расскажи скорее мне. И сказала кошка – тише, тише говори, мне во сне приснилась мышка, не одна, а целых три». Вот и все, чему я научился в русской школе за неделю.

Как-то, дело было в сентябре, мама достала кусочек хлеба, мне с собой в школу, я решил его съесть по дороге, сижу, ем, тут русские ребятишки сбежались, обступили меня, что-то говорят, понял только «козу доить», решил, что это игра, а мне 13 лет, – почему бы не поиграть. Связали малыши мне руки, подтянули к коленям, воткнули между колен палку, сделать ничего не могу. А они давай кричать: «Фашиста поймали!» и принялись бить, песок на голову сыпать. Мне казалось, что я человек миролюбивый, но тут – эта высылка, это унижение. Выскочили ребята из класса, дружки. Малыши разбежались, спрятались в классе. Мы тоже уселись за парты. Входит учитель, и они на меня показывают: «Вот он бил!», хотя дрался не я один. Учитель подошел ко мне, я встал – учитель все-таки, а он как размахнется и со всей силы ладонью меня. На ногах я удержался, но озверел. Учитель орет, ругается, я ничего не понимаю, он отошел на несколько шагов. Ну, а зверь, если испугался, что делает – нападает. Вот и я со всей силы ударил учителя головой в грудь. Он свалился, как куль. И мы все шестеро как рванем из класса и по домам. Решили – расстреляют нас, как пить дать, но, как ни странно, о нас и не вспомнили, и мы весь год помогали своим мамам. В школу больше не ходили. Стоило выйти на улицу, из-за заборов летели камни и крики «фашисты».

В селе еще с царских времен стояла церковь, но там теперь показывали фильмы, был балкон и внизу скамейки. Однажды мы тоже решили посмотреть фильм, сели, и тут с балкона полетел на нас всякий мусор. Так нам и не удалось посмотреть фильм. Так продолжалось целый месяц.

Мама работала на льнофабрике в страшной пыли. Приходила домой, и ее невозможно было узнать, работали они без масок. Сестра тоже в школу не ходила, помогала маме. Ей было 15 лет. Жили как-то, и не сытно, и не голодно. Утром бригадир шел по селу, кнутом стучал в окна, звал на работу, пока пройдет по селу, пока всех соберет, уже 10 часов, женщины, человек 10–15, выходили, садились в фуру с высокими бортами, ноги свесят и едут за 10–15 километров. На часах уже 11 или 12. И мы, ребята, ездили, в школу не ходили. Если это было осенью, то – «что, бабы? По грибы или по ягоды пойдем или работать будем?» Если погода хорошая, идут в лес, если не очень – немного поработают. Женщины у них спрашивают – вы землю совсем не удобряете? Удивляются – как, вы навоз в поле вывозите? Там земля такая плодородная, что можно лет сто сеять и сеять. Где-то летом перевезли нас в село Агинское, месяца два там жили, потом снова посадили на лошадей и на станцию Заозерное, оттуда поездом до Красноярска, потом согнали на берег Енисея, там уже ждали лихтеры и баржи, затолкали несколько сотен, и начался наш путь на Север. Мамина сестра осталась, у нее была совсем маленькая дочка, семья Гауи остался, мать там была толстая и болезненная и мальчики маленькие. А мы поплыли вниз по Енисею. Подплыли к высокому крутому берегу, люди стали шептаться, что нас туда загонят, расстреляют, а потом вниз поскидывают, паника началась нешуточная. Но кто-то успокоил – начинаются Ачинские пороги, буксир через них может перевести только одну баржу, а тащит он караван – штуки три или четыре. Согнали нас в трюм, и помчались мы с бешеной скоростью. Стучит и гремит везде, слышно, как камни скребутся о днище. Перевалили через пороги и по спокойной воде поплыли дальше. Только сейчас понимаешь, до чего там было красиво. В 1300 километрах от Красноярска расположен город Игарка, нас высадили, не доплыв до него километров 50. С 10 мая по 10 августа солнце не заходит. Согнали нас в огромный барак, кто встает, кто ложится, все перепуталось, ничего не по-

нять. Через неделю привезли в Игарку, в протоку Енисея сел гидроплан – доисторическое чудо природы из фанеры, согнали туда человек 50. Страх невероятный, все трясется, через все щели воздух, брызги. Поднялись и полетели, но холод страшный, все закоченели. Приводнились на озере, подплыли лодки и перевезли нас на берег. Это было огромное озеро Маковское, посередине остров окружностью 25 километров и еще множество мелких островов. На берегу склад и барак на четыре комнаты. Устроились на топчанах, сбитых из жердей в руку толщиной. Спим, но очень скоро на лицо, на голову начинает что-то падать – клопы, миллионы клопов, давно не питавшихся человеческой кровью. Ни живые ни мертвые отправились мы ловить рыбу.

Какой-то идиот придумал новым способом ловить рыбу в этом огромном озере. Полукилометровую сеть с понтона четыре человека спускают постепенно под воду. На берегу стоят «воротушки», которые вертят бревнами, и на них наматываются веревки. Женщины посильнее крутят эти воротушки, мы, подростки, тоже помогаем изо всех сил. Натянешь 20 метров, и все – веревки мокрые, с водорослями, ни с места, рвутся. На лодках идешь, выбираешь водоросли, а с ними и рыбу. Итог – пять-шесть рыбешек. Чекист с пистолетом, ходит по берегу, важный, следит. Женщины и дети – и чекист. Чистая насмешка. Ничего не получилось большой сетью, стали ловить малыми. По 10–20 ящиков составляли в так называемый паром. А мы стали голодать, просто невероятный голод. Ловили мы сотни килограммов сказочной рыбы, сегодня ни Путину, ни Вике-Фрейберге такую и не попробовать, пока сюда довезут, она уже не такая, как на месте. А чекист ходит и из-за кустов следит, чтобы мы сырую не ели – все для фронта! Сколько рыбаков утонуло, когда начинался шторм, от берега в 10–12 километрах на лодке длиной шесть метров очень опасно. Встаешь утром и не знаешь, вернешься ли домой. Если бы разрешали есть рыбу, у нас и сил было бы больше, и ловили бы больше. Но это была пытка, одна мысль у них была – чтобы мы поскорей в этой тундре подохли.

Там же на озере встретил я и свою будущую жену. Со временем стали мы хитрее, брали с собой ведро, воду из лодки вычерпывать, высаживались на острове и в этом ведре варили рыбу, главное, чтобы с берега дым не заметили. Однажды в оленьей упряжке привезли крохотную девчушку, гречанку, от голода она совсем распухла, была даже без сознания. Мама в то время была там хлебопеком, и хоть подсчитывали до грамма, она ухитрялась отщипнуть от буханки, и крошку масла приберечь от того, чем сковородку мазала. И девочка эта поправилась. Мама спустя какое-то время умерла, так и не узнав, что спасла мне жену. Это моя Дина, с которой мы и сейчас живем. А тогда ее на самолете отвезли в Старую Игарку, и встретились мы только в 1952 году...

Ловили мы на небольшом озере черную рыбу: плотву, окуня, щуку, и из поселка, где жили, шли туда по тундре, без дороги, несли с собой обычно 30–40 килограммов соли – рыбу солить. А в тундре между холмов болотца, и когда идешь с тяжелым мешком за плечами, земля под ногами колышется. И как-то решили мы проверить, какой глубины эти болотца, связали вместе две березы, на конце подвесили камень, опустили метров на 30, но дна не достали, и измерительный наш «прибор» исчез в глубине. Были случаи, когда люди проваливались, но, к счастью, их удавалось спасти.

Каждый из нас нес мешок соли килограммов 30–40, соль везли и на лошади, на полдороге лошадь сломала ногу, чекисты ее пристрелили и перегрузили соль на нас. Пройдем 100–200 метров, отдыхаем, идти дальше сил нет. Устали до смерти, кое-как дотащились эти 15 километров до озера Щучьего. А там опять начался голод, вши и страшное отчаяние – многие болели, надвигалась осень, так что иной день приходилось работать не 12, а все 24 и даже 30 часов без перерыва. Чекист и приемщик жили в будке, а мы в огромной армейской палатке человек на 100. Холодно, с лова вернешься – весь насквозь мокрый. После 12-часовой смены еле до палатки дотащишься, в полубессознательном состоянии. Упадешь в мокрой одежде, только глаза смежишь – тебя в бок: «Давай на смену!». Эти муки продолжались пять, нет, семь лет. Интересно, что деньги как таковые в то время вообще не существовали, рабский труд за 400 граммов хлеба и какую-нибудь рыбешку.

Было это позже, когда я был бригадиром, мы уже опыта набрались, и нашу бригаду всегда посылали на дальние озера, где было труднее. Было такое налимье озеро длиной 12 километров и шириной четыре с половиной, в бригаде 15 человек. На одном берегу база, где мы сами построили склады, и соленую рыбу увозили на оленьих упряжках. Часть бригады, и я в том числе, ловила у противоположного берега, и настал момент, когда все о нас забыли. Мука кончилась у нас еще месяц назад, питались одной рыбой. Да, тогда у меня уже было ружье, мы должны были охотиться, сдавать шкурки соболей, куниц, лисиц, и я подстре-

лил северного оленя, женщины наварили огромный котел. Но как же быстро надоедает одна и та же еда, приходилось уже силком есть, чтобы выжить. Мы еще на неделю задержались, пока бочки не забили, чтобы медведи или россомахи не разворовали. Привели все в порядок, уложили свои пожитки и поплыли через озеро, а озеро это особенное. Оба берега высокие, а оба конца низкие, и если осенью начинается буря, то дует в озере, как в трубе, с огромной силой. Доплыли до середины, и поднялся ветрило, что ни волна, то полная лодка, а лодка и так вещами перегружена. Одна из женщин без перерыва вычерпывает ведром воду, две сидят на веслах. Все обледенело, весла отяжелели, не поднять. До берега метров 200 оставалось. Озеро глубокое, вода кристально чистая, при тихой погоде на глубине 10–15 метров иголку видно, кажется, что летишь по воздуху, что и воды под тобой нет. Озеро глубокое, единственный ручек втекает как раз возле нашей стоянки. Еще издали увидел, что окна крест-накрест заколочены, все наши ушли. И вот осталось нам всего 200 метров, а в лодке полно воды, и идет девятый вал, и мы в ледяной воде по горло. Но, как говорится, пришла беда, отворяй ворота. Волны бьются о берег и застывают, снизу их подмывает, льдины падают в воду, на берегу образовалась стена льда, не подобраться. С превеликим трудом выбрались в том месте, где впадал в озеро ручей. Лодка со всем моим оружием затонула, подошли к хижине, все снегом замело, наши ушли на озеро в 40 километрах, хоть дороги и не знали, знали только, что где-то на севере. Руки закостенели. Локтем выбил стекло, кое-как вытащил доски, хорошо, что гвозди были короткие, выбил раму – во что бы то ни стало надо попасть внутрь. Смотрю, одна женщина уже в снегу лежит, две за мной. Помочь не могу. Спас сибирский закон: если нет хлеба, по крайней мере, печку надо заполнить дровами, чтобы можно было поджечь одной спичкой. Забрался в окно, одна за мной влезла, вторую через окно втащили. Говорю, надо как-то третью втащить, пока я печку затоплю, спички на столе. Подошел, хочу взять, но удержать коробок и не пытайся. Взял зубами, достал как-то шесть-семь спичек, поджег и держал в зубах, пока береста не загорелась. Долго еще потом, месяца два, с обожженными губами ходил. Но вот и третья женщина в комнате, а окно выбито, забить нечем, печка топится, а трубы нет, это большая ценность, ее с собой увозят, никогда не оставляли. Тепло, но полная комната дыма, дышать нечем. Вышел в сени, там у нас еловая кора хранилась, крышу ею покрывали. Смотрю – она в трубку свернулась. Ну, я ее и приладил, дыма, вроде нет. И тут она как вспыхнет, пришлось выбрасывать в окно, голыми руками. Потом придумал – выдавил у старого ведра дно, поставил на печку, сверху кору приладил, окно затянули старыми оленьими шкурами. Две ночи там ночевали. На следующий день озеро уже подо льдом, Лед слабый, но идти можно. На берегу и наша лодка со снаряжением. И самое главное – нашли ловушку, «пасть», когда два бревнышка на зверя падают. Обычно, когда уходят, ее закрывают, но наши не проверили, и я в «пасти» нашел зайца. Сварили, согрелись. И предстоял нам 40-километровый путь через тайгу и тундру. Снег уже хороший, мешки за спину и отправились. К вечеру вышли в тундру – белая пустыня, и вдруг, Пресвятая Богородица, дымок за холмами. Откуда силы взялись, на дымок поспешили. Знакомые эвенки! Мы все им рассказали.

Очень гостеприимный народ. Обидятся, если пройдешь мимо, в чум не заглянешь, чаю не выпьешь. Посреди чума костер, по краям толстый слой еловых ветвей, покрытых толстым слоем оленьих шкур, а между костром и ветками – снег. У них недавно родился ребенок, месяцев девять ему. Ползает по этим шкурам, ползает, и свалится на снег. Мать схватит его за ножки, положит на шкуры, а сама сидит себе. Самая главная среди них женщина скажет: «Ну, знать, проголодались». А мы умираем с голода. И вот она берет дощечку величиной с большой блокнот, насыпает горсть муки, наливает воду, вымешает шарик из теста, поднимет юбку и на бедре начинает его раскатывать.

Я никогда не видел, чтобы они умывались или плавали. Место, где она раскатывала тесто, было белое, а какого цвета остальное тело, не разберешь. Но мы были так голодны, что нам было все равно. У эвенков всегда имелась еда, они отличные рыбаки и охотники, за шкурки с ними расплачивались деньгами, за них можно было купить продукты. Накормили нас как на убой. На следующее утро они обещали нас отвезти. Один довез нас до острова, осталось идти 25 километров, по какой-то причине дальше везти он нас не мог, но мы были благодарны и за это, мы были уже у знакомого озера. Пришли усталые, все наши были на базе, мама и сестра тоже.

Мы живем в поселке Ермаково, в 150 километрах от Игарки. 1949 году туда согнали тысячи заключенных и принялись изобретать очередной феномен – железную дорогу от Оби до Енисея, через тайгу и тундру, ее строили заключенные. Но уже через пару лет паровозы затонули или опрокинулись, так что ни один поезд по ней не прошел. Нас перевели в Старую Игарку, там Енисей раскинулся на шесть

километров. Я в поселке почти не жил, все время отправляли на озера ловить рыбу.

В 1947 году до нас дошла весть, что те, кто родился в 1927 году и младше, могут уехать домой. Маму еще за год до этого парализовало – отнялась вся правая половина тела, разговаривать не могла, но к концу года стала понемногу передвигаться, и уже можно было понять, что она говорит. Сестра на Севере вышла замуж за латыша, и у них только что родился сын. Да она и родилась в 1925 году, так что уехать не могла. Решили, что в Латвию поедем мы с мамой. Поехал в Игарку, обошел все учреждения, но ответ был один: «Да она и так здесь помрет», произносили это совершенно спокойно. Сказал, что один не поеду, что и завтра приду упрашивать. Назавтра снова обошел всех, и снова мне повторили то же самое. Вернулся домой, хозяева на работе, мамы нет. И меня охватило недоброе предчувствие. До притока Енисея было метров 200, там раскинулся огромный лесопильный завод. Тысячи кубометров заготавливали для отправки за границу, по притоку шли гигантские плоты. Побежал я на берег, а там большой плот, одним концом на берегу, второй на якоре далеко от берега. Дело было 27 сентября, бревна уже обледенели. Издали до меня шум донесся. Подбежал, мама в воде, руки на бревнах, подняла голову, посмотрела и отпустила руки. Я схватил ее за волосы, вытащил, пока нес к дому, она скончалась. Шок у меня был, разболелся окончательно. На следующий день позвонил сестре, она приехала с малышом, хоть какая-то моральная поддержка. Договорился с человеком, он сколотил из простых досок ящик, достал лошадь и отвез на кладбище. Дорога страшная, вся в рытвинах, я все гроб держал, чтобы из телеги не вывалился. Да еще и дождь пошел. Приехали, а этот русский человек мне говорит: «Могила готова». Я посмотрел, взял у него лопату, а он снова: «Не старайся, тут вечная мерзлота». Я пытался вычерпать из могилы воду, но она тут же наполнялась снова. Так и опустили мы гроб в воду и закидали землей. Теперь на этом месте город стоит.

Отец лежит где-то в общей могиле. Такая вот она была, дорога к коммунизму.

Я сильно разболелся и уехал в поселок к сестре. Когда поправился, было уже поздно, и большинство тех, кто уехал, через год вернулись по этапу и через тюрьмы.

Моя будущая жена жила в Старой Игарке. Ее тоже посылали на озера, но когда у нее родился сын, она жила в поселке. Вместе стали мы жить в 1952 году, расписались в 1958-м. Жена, она была такая маленькая, тоненькая, талию можно было обхватить руками, но внутри у нее чертяка сидел – если где-то женщины смеются или парни кричат, значит, там Дина. Успехом пользовалась у всех, но в поселке я был единственный музыкант, потому, видно, и отдала она мне предпочтение. Я за всю жизнь ни минуты не пожалел об этом. Она такая деятельная, ни минуты не посидит. Аккуратная, чистоплотная. Когда приехали, она сразу же пошла в колхоз на сушилке работать, колхоз наградил ее всеми медалями, какие только были, где бы она ни работала, у нее любое дело спорилось. Характеры у нас, правда, диаметрально противоположные, ее не интересует телевизор, ничего, что творится в мире, зато все ее заботы о доме, о хозяйстве, о внуках, лучше нее хозяйки не найти.

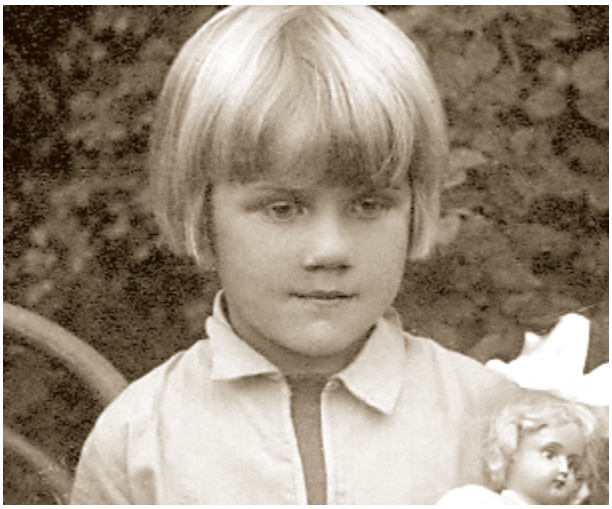
Летом 1957 года приехала сестра. Мы в декабре 1956 года уже могли уехать домой, но зимой только на самолете, поэтому сестра и приехала летом следующего года. Я в то время был в 400 километрах от Игарки и вернулся только в 1958 году. С 42-го по 45-й или по 47-й год один год работы на Севере считался за два, а когда жизнь улучшилась – с 48-го по 58-й год один год считался за пять. Так что у меня 116 лет непрерывного трудового стажа и пенсия 121 лат. В общем, за свою жизнь лат за год заработал. Сестра прислала письмо, что работу в Тервете я найду, а к отцовскому дому и близко не подпустили, хотя я ездил в Добеле, просил предоставить хотя бы квартиру в доме отца. В 1958 году, перед отъездом домой, мы там зарегистрировались, у нас уже были сын и дочка, жена ждала младшую, которая родилась уже здесь, в январе. Дорогу оплатили сами. Сели на пароход и поплыли вверх по Енисею. Я договорился с аккордеонистом, играл, и доехали весело. Сын и дочь впервые видели большие дома и поезд. Ехали в пассажирском поезде, в купе. В Москве 12 часов надо было ждать поезда до Риги, я подхватил малышей и отправился с ними в зоосад. Приехали, нашли квартиру, в нескольких километрах в сторону Ауце, в доме сына двоюродного брата отца. На следующий день к председателю Терветского колхоза, с которым пели в ансамбле. Приняли грузчиком, научился водить грузовик, а прав не получить – я дальтоник. Колхоз купил мельницу, был я в колхозе и парикмахером, и сапожником. Гредзенс сказал: «Быть вам, Упениекс, там директором». Четыре года проработал, разногласия с Гредзенсом возникли, ушел. Устроился в Добеле в МРС бухгалтером-счетоводом.

Все это настоящий геноцид – физическое уничтожение народа, чтобы переселить сюда русских. То же самое сегодня в Чечне творится. Что-то делать надо…

Мать Беатрисе, Гунарс, отец Эдвардс. Латвия

МЭРИЯ УПЕНИЕЦЕ

родилась в 1926 году



В семье было двое детей – мы с братом Гунарсом на два года младше и отец с матерью. Жили в Терветской волости, на хуторе «Пунтес». Там оба и родились. Хозяйство отец унаследовал от своего отца, моего деда. Жили в дедовом доме, работали, были счастливы до 27 марта 1941 года. Утром 27 марта в дом приехали на лошади четверо или пятеро мужчин, сказали, что дом национализирован, что мы должны в 24 часа его освободить. Разрешили взять самое необходимое – из мебели небольшой стол, три или четыре стула, кур, свинью и корову, вот и все. Выселили прямо на большак. Слава Богу, соседи приехали со своими повозками, сколько их там было, 20, 30, услышали про нас, нагрузили к себе провизию, все, что для работы нужно, инструменты, чем землю обрабатывать. Поселились у маминой тети. Ей было, вероятно, лет 75.

Я тогда училась в Елгавской школе. До этого окончила четыре класса в школе Анны Бригадере. В тот день я приехала из Елгавы к родителям за продуктами, за деньгами. В Елгаве я жила у тети. И тогда все мы к ней переехали.

14 июня 1941 года. Въехали во двор трое на лошади. Вошли, один с винтовкой. Сразу – где оружие, где родители? Стали дом обыскивать. Я говорю – это чужой дом, я к тете приехала. Не слушают. Главное – где оружие? Я сказала, что отец все оружие сдал. У него оружия было много, он был командиром айзсаргов. Тогда тот, что был с оружием, велел мне поднять руки и стал водить – в клеть, еще куда-то, искать. Потом сказал: «Мы вас увозим». Но у меня одежды там не было, так, кое-что. Вся одежда была в Елгаве. Брат тоже испугался. Но один из латышей закинул в мешок шмат копченого сала, насыпал в куль муки, кинул булку хлеба. Не знаю, что еще. Я не могла понять, что брать с собой. Пальтишко летнее накинула, и посадили нас с братом на телегу и отвезли в Элею.

В Элее затолкали в вагон, где уже были люди. Была вторая половина дня, а людей все подвозили и подвозили. В вагоне уже не было места, люди плачут, кричат. Оттащили вагон в Елгаву. Отец и мать, узнав, что нас взяли, пришли в Елгаву к вагону сами. Отца тут же арестовали и увели, так с тех пор я его больше не видела.

Маму посадили в наш вагон. И начался наш путь на Голгофу. Когда переезжали границу, весь эшелон – не помню точно, вагонов 66 или 67 – пел «Господь прибежище мое и твердыня моя». Переехали границу и ровно месяц ехали до Красноярска, останавливались на каких-то окраинных станциях. Везли не через Москву, окружным путем, через Киров. Приносили кипяток. Это было первое слово, которому я научилась – на всех станциях кричали «кипяток». В вагон в ведрах приносили иной раз суп. А так как у кого-то из дома были продукты, месяц протянули.

Приехали в Красноярск. Там начался кошмар. Привезли людей отовсюду, выбросили на огромной площади со всеми вещами, у кого были, а у кого и не было ничего. В нашем вагоне была женщина с 40 яйцами – дворничиха, несла яйца на базар, никакой связи с политикой. Но не хватило тех, кого надо было арестовать, и чтобы было по счету, брали и тех, кто по пути попадался. На второй или третий день приехали из колхозов и совхозов, забирали на работу.

Привезли нас в деревню Агирская. Мама какое-то время работала на льнофабрике, потом сено косила. Мне было хорошо – я была в отряде мазпулков, там нас учили лошадь запрягать, коров доить. Когда приехали

Когда переезжали границу, весь эшелон – вот не помню точно, 66 или 67 вагонов, – пел «Господь твердыня моя и прибежище мое».

на сенокос, дали мне конные грабли. Можно назвать это конными граблями. Я как-то чем-то скрепила все, чтобы не рассыпалось. Целый день сидела на этих граблях, спать могла или уехать за километр, там степи конца краю не видно. Никто ничего не требовал.

Распрягу лошадь, прискачу домой верхом, а другие от усталости с ног валились. Так год там отработали.

С кормежкой было трудно. Вещи меняли, кольца, какие еще оставались. Люди в деревне были не злые. Кто молока даст, кто картошки. У них у самих ничего не было. Страшная нищета, бедность. Может, на десятой избе только крыша была. Те богатые считались, у кого изба под крышей, из жердей. У других покрыта дёрном и травой, но не протекала. Под дёрном, вероятно, береста была или еловая кора.

В 1942 году, в июне собрали всех подростков и молодежь, повезли на баржах на Север. В нашем караване было каких семь барж. Были калмыки, немцы с Волги, финны из-под Ленинграда, румыны – каких только национальностей не было. В пути высадили большую группу за Полярным кругом на берегу Енисея. Где-то избы стояли, где-то ничего не было, дали только огромные палатки. Помню как сегодня – высадили на правом берегу, дали большую палатку. Не знаю, в какой связи, но был там один мужчина, латыш, сказал – здесь будет твой колхоз. Денежкино. Был как раз вечер Лиго, когда нас высадили. Стояли бараки там, где высадили. Выдали кусочек сала, чекушку спирта, буханку хлеба, немного маргарина – норму на человека на месяц. Такую ночь Лиго никогда не забуду! Всю ночь жгли костер, пели на латышском языке, да так, что весь Енисей звенел. Там же никого поблизости не было, некому нас брать. Да и куда повезут? И так за Полярным кругом.

Было это Сушково, потом небольшой рыбацкий колхоз организовался. Сначала была Курейка, где Сталин в ссылке был. Поменьше – Денежкино и Курейка, больше не помню. Там высадили. Привезли в «город» Игарку. Человек 20 нас было латышей. Сказали – это город Игарка, через несколько часов будет самолет. Была младшая, лет 17–18 мне было, а парням нашим по 20, 22. И пошли мы искать этот

Мэрия с братом Гунарсом

город. Час идем, полтора идем – не можем город найти. Тротуары из досок, ноги застревают, халупы какие-то – это и был город Игарка. Когда вернулись, в ту ночь, кажется, спали на берегу реки.

Назавтра погрузили в вертолеты, а были они такие, что из них ноги торчали, отвезли на то озеро. Был и самолет «Аннушка», который на воду садился. Озеро было величиной 30 на 40 километров. Там и высадили. Стояло несколько бараков, в которых жили русские, еще с 29-го или 30-го года. Клопов и вшей там столько было, что не описать. На всех выдали, кажется, две телогрейки. Считалось, что лето, так что ничего и не дали. Через пару дней пошли ловить. А мы в шелковых чулках, ситцевых платьях, кофтенка какая-никакая и то не у всех. 800-метровая сеть, утром забрасывали, вечером вытаскивали. Естественно, почти пустую. Ну, ведро мелкой рыбы, вечером на всех сваришь с солью, и все. А мы должны были поймать уж и не знаю сколько центнеров той рыбы, чтобы отовариться, хлеб получить за пойманную рыбу. А нам ничего не полагалось. И начали мы страшно голодать. За килограмм украденной рыбы давали год. Чего мы только не делали! И в брюки засунем – но и их щупают. Уполномоченный в кустах сидел, следил. Днем комары одолевали, ночью клопы. Так все лето промучились.

К зиме поделили нас, отправили на мелкие озера. Выдали ломы, все инструменты. Отвезли на собачьих и оленьих упряжках. И там все контролировали. Я одна прожила два месяца на озере под елью. Одна ловила с лодки. Ловила окуней, и удочкой тоже. А окуни на одну ловятся как на две уды, вместо наживки рыбий глаз, только успевай снимать с крючка. По полкилограмма окунь. Наловить мне надо, засолить, и за них мне выдавали хлеб, муку. От озера, где была база, до того озера, где я ловила, было с километр по болоту. И каждый раз молиться надо было – дна у болота не было. Единственное, знала, что уполномоченный не придет. И я жарила окуней, варила, носила через болото, прятала под елкой. Мама за ними приходила, уносила – брату, себе, кому могла. А я каждый раз жизнью рисковала, проходя через болото.

Оттуда стали мы перебираться на берег Енисея. Один русский на лодке и наша семья на лодке. Толка-

Мэрия в Игарке

ли, пихали, добрались до Енисея, оттуда по Енисею до Ермакова. В Ермакове думали большой аэродром строить, большой военный городок. Случилось это в марте, когда там еще зима. Меня отправили на аэродром, измерять кубатуру снега, так как я умела считать. Там расположилась крупная экспедиция, которая все это и должна была делать. Маму назначили хлебопеком. Дела наши поправились. У меня родился первый сын.

Расписаться там нельзя было. Те, кто в городе, те могли. А у нас никого – ни кто распишет, ни кто разведет. Отправили меня обратно на озеро ловить. Была в положении, но работала почти до последнего дня. Потом отрядили эвенка везти меня на Енисей, к маме. 120 километров ехали трое суток – по снегу, через тайгу, ночевали в лесу. Если костер разожжешь, положишь еловых ветвей, не замерзнешь. В девять вечера приехали в то село, а в одиннадцать уже Юрис родился. В селе была фельдшер. Пришла, пуповину перерезала, а наутро я уже пеленки стирала.

Ребенку полагалось пол нормы, не помню, сколько это было, но не с первого дня, конечно. И началась жизнь в Ермаково. Что я только там не делала! А потом муж, ну, не муж, отец ребенка, сошелся с немкой. Появился очень симпатичный украинец, киномеханик, с которым думали уехать на Украину. Родился второй сын. Разница между ними в шесть лет… Разную работу делала. После рождения второго сына пять лет работала на ферме дояркой. Коров из Калмыкии привезли, голов 10, два или три быка. Ферму восемь раз чистила белыми опилками. Чисто было так, что я весь день работала в белом халате, коровы белые были. Приходили проверять с белым носовым платком. Молоко возили в город Игарку – в детский сад, в больницу. Без всяких анализов чистое такое, какого и сегодня нет. У меня была бутылка, которую я прятала в карман фуфайки. Носила детям домой. Носила и мороженое молоко. Там же в мисочке замораживала.

Последние пять лет жилось уже легче. Я сравнительно хорошо зарабатывала, больше не рыбачила. Когда продавщица уходила в отпуск на две недели, мне выделяли клетушку, привозили продукты, и я торговала. Когда был праздник какой, я буфетчицей работала. Продавщицей там была отличная финка.

Мэрия с семьей в Сибири, в Игарке

Мужем ее был председатель, румын. Там все национальности переженились, все, какие только можно представить. Ну прямо как русские сейчас говорят – «жили дружно». И все время ведь на это давят.

Так мы и жили, пока домой не поехали. Я даже на всякий случай собрала 4000 рублей. Но мы до последней минуты не верили. И вот в декабре 1956 годы был специальный вызов – в течение нескольких часов прибыть в «город Игарка» в НКВД, получить паспорта. Так и было. Дали нам лошадь, запрягли, переехали через Енисей. В декабре ехать можно спокойно. Получили паспорта и сказали нам – вы свободны. Я еще к начальнику НКВД подошла, спросила – что значит «свободны»? Езжайте, куда хотите. Билеты за свой счет. Все в порядке.

Весной билет на пароход достать почти невозможно. Русские в отпуск едут. Только по блату. Председатель достал билет, кажется, на второй пароход. Пароходы там идут один за другим. Я одна с ребятами, мешок, в фанерном чемодане одежда, переодеться, больше ничего, кружка, ложка в дорогу. А больше там ничего и не было. Так ехала я одна, кажется, потом вспоминала. Брат только через год собрался, когда я тут уже подыскала где ему жить, где работать. Мне было все равно, только бы на этой земле, пусть бы и под елкой. Приехали в Красноярск. Одному билета не нужно было, всего пять лет было, второму полбилета. И на поезде до Риги.

В Москве надо было целый день ждать, как сейчас. Пошли на Красную площадь – к Ленину. А там что-то такое... ну, не пускают. Стоят два солдата. Села я на скамейку. Младший цветов никогда не видел, а там клумбы. Рассказала ему, что это. Смотрю, пошел к солдатам, и вот сейчас... Я как закричу. А он мне говорит: «Я хотел пощупать, они живые или нет». Сказала, что живые.

Вечером приехали на вокзал, сели в поезд, едем в Ригу.

В Ригу поезд в шесть утра прибывает. У меня мешок да чемодан. Тут уж можно было что-то купить – булочки. Иду вперед – памятник Свободы надо увидеть. Стою и буквально плачу. Дети говорят – мам, ты ж хотела домой, почему теперь плачешь? Наплакалась я.

Тетя с дядей жили там же, на улице Сарканармияс. Я никому не сказала ни день, ни час, когда приеду. Подождала до семи, чтоб встали. Пришли, звоню. Подходит тетя, смотрит – женщина незнакомая с детьми. Видела она меня, когда мне было 15 лет, а сейчас 31. Говорю – утро доброе! А дядя чуть дальше, только голос мой слышит. Тетя молчит, не поймет ничего. А дядя как закричит – что стоишь, это же наша Мэрия! Завтраком накормили. А дальше – мне все равно. У меня здесь много родни было, но как принять женщину с двумя детьми? У них же тоже комната с кухней, да там жил и еще кто-то. Папина сестра жила здесь, в Кримунас. На следующий день сюда и приехала.

Жила у папиной тети неподалеку от Кроньауце. У нее комната пустовала, она меня приняла. В отцовском доме жили четыре русских семьи. Сердце болело ужасно. Мне был так дорог отцовский дом. У отца было образцовое хозяйство, я тоже немало сил в него вложила. Когда ехала автобусом в Добеле, всегда отворачивалась, мне казалось, что все люди следят за мной – смотрю ли я на тот дом. Я же не знала, могу я на него смотреть, не могу. Сердце болело до последней минуточки, пока мы его не вернули. Было это в 90-м году.

А что произошло с вашим отцом? Мы все интересовались. Узнали, что он в Кирове, в лагере № 7. О нас он узнал от других, так как мамина сестра с детьми тоже была в Красноярске. Она там умерла несколько лет назад. Отец писал, пока мог. Умер он голодной смертью. Все надеялся, что его спишут и разрешат к нам... Ему присудили 25 лет. Все было ужасно. Все это правда, о чем рассказывали другие, которых мы потом встретили. Он писал, что встретил тех и тех, человек 10, которые уехали будто бы к нашему дедушке. А дедушка умер. Письма короткие, треугольнички. Больше ни о чем не писал. И все между строк, мы расшифровывали. За все время писем 10, может быть, написал.

Мой отец был идеальным человеком и останется для меня таким же. Единственный человек, кого я считала элегантным, обворожительным, с характером – это был мой отец. Он командовал всеми парадами на праздниках, был командиром айзсаргов.

Как вы оцениваете все, что случилось с вашей семьей? Это ужасно. Что еще страшнее можно было сделать? И за что? Образцовое хозяйство, порядочные люди, все делали по совести. И патриотами были, не то что сейчас. Как можно воспитать патриотизм, не знаю. Со своими детьми у меня не получается. Старший сын умер, вот уже 13 лет. Младший... Дети и внуки у меня хорошие, каких каждому могу пожелать. Таких не бывает, и невестка такая же. У меня и слов нет. Если была бы у меня дочка, вот не знаю, такая ли была бы. Когда болела, она меня буквально поддерживала своей энергией, своей любовью, каждый день звонила, рассказывала, как внуки живут...

Гунарс и Мэрия в Латвии

ДЗИДРА УПИТЕ (ЛАУСКА)

родилась в 1929 году

Мы были дома. Вокруг дома ездила грузовая машина, они стояли в кузове, смотрели. Наш адрес дала им бабушка, к ней они тоже приезжали. Вошли и сказали, чтобы мы быстро собрались, взяли с собой только самое необходимое. Собрали, что смогли. У меня были в то время длинные косы, и для меня важнее всего были ленты... Мама что-то собрала. Пришла соседка и все, что было в кладовой, – сахар, муку, – все сложила в мешок, сказала: «Пригодится!».

Отец командовал взводом айзсаргов, мама была домохозяйка. У нас было много видов собственности. За это нас и выслали. Отец был инженер. Он знал, что собираются высылать, и в последе время не жил дома. Не думал, что вышлют и семью, детей и женщин, считал, что искать будут только его. Да... Потом он пошел сам, но уже не понадобился... Попал в фильтрационный лагерь, там было немного легче, чем в лагерях 1941 года.

Взяли нас троих, бабушке было 78 лет. Папиной маме... Она сказала им наш адрес, приехали за нами, а потом и ее забрали. Мне было 12 лет, Руте чуть больше 13, младшей около семи лет... Я уже была большая девочка. В вагоне верхние нары были заняты, ехали внизу. Места было мало, да еще вещи. Самое ужасное – не было туалета, торчала из пола труба, никакого ограждения. У кого было, пожертвовали три простыни, кое-как прикрыли. Некоторые говорили, что их не кормили, нам еду давали, в основном приносили ночью, говорили, чтобы шли за продуктами. Выходили, но есть мы не хотели. Был соленый формовой хлеб... Случилось это в России, двери открыли, подошли люди, принесли молоко, спросили, нельзя ли обменять на хлеб. Обменяли...

Нас всех троих увезли в больницу. В раздевалках стояли большие ящики, мы в них спали... Утром мама умерла.

Все были подавлены, не знали, куда везут, надолго ли... К окнам не добраться, там все время кто-нибудь был, и в щелку смотрели, если двери были приоткрыты. Высадили недалеко от реки, потом на баржах привезли в село Первая Покровка, там было много высланных евреев. Сначала поселили в школе, спали, конечно, на полу. Потом приняли нас местные, но и у них была всего одна комната. Нас было пятеро, вместе с бабушкой, нам трудно было устроиться, пока нас все же не взяла одна семья. Мама работала в колхозе. Нелегко ей было, она же сельского труда не знала. Надо было теребить лен. Норма была 800 граммов хлеба, если рабочую норму не выполнил, давали 400 граммов. И мы с Ритой помогали копать картошку, могли потихоньку и домой принести. Трудно было... На другие работы нас не брали, только копать картошку и собирать колосья.

Бабушка в первый же год упала и ушибла руку, крови много вытекло... Из лекарств была только разведенная марганцовка, отвезли к фельдшеру. В 1942 году бабушка умерла... У меня на обеих ногах было 62 нарыва. Жила на топчане, ходить не могла, ничего на ноги надеть не могла. У сестер ничего похожего не было, только у меня... Иждивенцам давали по 400 граммов, мы с Рутой ходили помогать, нам давали 600 граммов. В школу не ходили, надеть было нечего. Да в селе и школы не было, надо было ходить в соседнюю деревню, за несколько километров. Нам с сестрой оставили одно пальто, одну пару обуви, чтобы мы могли выйти на улицу, остальное обменяли. Меняли вещи на ведро картошки. В школу я пошла позже, в вечернюю школу. В 1941 году я окончила четыре класса. Когда перед второй ссылкой мы жили в Бауске, я ходила в вечернюю школу.

Слева: Дзидра (стоит), Рута, Майя (сидит). Латвия

Об отце не было никаких сведений. Маме было тяжело. Другие женщины, возможно, были практичнее, но мама жила в хороших условиях, и ей было трудно... И покормить нас, и что-то достать. Приходилось идти за девять километров в соседнее село, чтобы что-то обменять на муку или картошку.

Жили мы у хозяев, они были хорошие люди, сами высланные. Они потеряли троих детей, потому что их привезли в лес. Говорили, что мы в лучшей ситуации... Их бросили просто в тайге. Что хорошего они видели?

Прошло время, и на трудодни перестали давать хлеб... И радио не было. Редко кто-нибудь появлялся, что-то рассказывал. Мы были далеко, ближайшее село в девяти километрах, остальные еще дальше.

Когда в колхозе ничего не заплатили, перестали давать и хлеб, мама решила искать другое место. Пошла к коменданту за разрешением. Тогда сказали, что нас – маму, сестру и меня – отправят в лес собирать ягоды. Жили мы там в бараке. Норма была в день 14 килограммов, но не справлялись – сил собирать не было... К осени стало холодать, мы отправились в Колпашево. Решили пойти к коменданту, думали, как жить дальше. У мамы было больное сердце или почки, врача ведь не было. У нее распухли ноги, опухли глаза. Когда шли в Колпашево по улице, она не раз падала. Нам повезло – по той же улице шла врач из больницы, она позвонила в скорую помощь. Это, конечно, была повозка с лошадью. Нас всех троих увезли в больницу. В раздевалках стояли большие ящики, мы в них спали... Утром мама умерла. Это от голода, от всего пережитого. Случилось это в 1943 году.

Мне было неполных 14 лет, и нас с младшей сестрой поместили в детский дом. Порции там были маленькие, но кормили регулярно. Три раза в день что-то было. Нам завидовали – хоть 100 граммов хлеба с чаем, зато три раза в день, это уже было много... В 1945 году, когда кончилась война, нас отвезли в Латвию. Приехали в Колпашево, Руту тоже взяли, других девочек тоже, и тех, кто был старше 16-ти. Везла нас госпожа Силмане, она всем подделывала документы. Когда нас привезли в Латвию, ей дали 10 лет тюрьмы за то, что привезла детей старше, чем положено.

В Латвии нас поместили в детский дом на улице Кандавас, осматривали врачи. У меня нашли туберкулез, отправили в Бикерниекский санаторий, потом в Цесис. Была такая госпожа Брумане, вдова священника, она взяла Майю, официально не удочерила, Майя у нее просто жила и училась в Бикерниекской школе, где госпожа Брумане преподавала. Мы с Рутой жили в Бауске. Когда отец вернулся из лагеря в 1951 году, нас взяли второй раз. Мы жили у отца, Рута работала машинисткой на промкомбинате, я лечилась – ездила в Ригу на продувание легких.

Второй раз нас выслали в 1951 году. Приехал на комбинат чекист, кто-то про нее что-то сказал, хотел с ней поговорить, но Рута категорически отказалась. И вот спустя какое-то время приехали за нами за всеми. В документах была запись: «Приехали в Латвию обманным путем, назвавшись круглыми сиротами». Об отце мы тогда еще ничего не знали.

Второй раз привезли нас в Колпашево, война кончилась, условия уже были намного лучше. Были вместе с отцом. Работали на кирпичном заводе. Там же работал и отец, в бондарном цеху, учетчиком, считал, записывал...

Однажды, когда вернулись, съездили в те места, где жили раньше, там все заросло, какой-то чужой человек ходил. А у меня о доме были самые лучшие воспоминания, больно все это было видеть. Лучше жить в другом месте. И больше я туда не приезжала.

Руте там было хорошо. Когда мы приехали в Латвию, ей сказали, что она здорова. А что в Сибири заболела, так она сама была виновата. Она была полная и хотела похудеть. С работы шла, пальто на руке несла, а сама вспотела. Ей все время было жарко, так и заболела туберкулезом. И попала в Колпашев-

скую больницу. Ничем ее там не лечили, ссыльным лекарств не давали. В Латвии я свой туберкулез вылечила, четыре года мне продували легкие. В Сибири климат хороший, сухой. Когда ехала, думала – ну, все... Мне потом сказали, что сухой климат для легких это хорошо. И только возвращаясь, почувствовала слабость, а там все было в порядке.

Майя... И ее второй раз забрали. Они же знали, кто где находится.

В 1956 году вернулись. Работали на заводе, все, что можно было, продали, чтобы купить билет на пароход. Ехали 4-м классом, в коридоре, через нас перешагивали, ходили мимо... Но других билетов мы купить не могли.

Как достали документы, не помню. Зарплаты там были маленькие, вот и ехали так, как ехали. Возвращались все вместе – отец и три сестры.

У нас в Риге, на улице Марияс, 16 был когда-то дом, когда мы приехали, там жил папин знакомый. Папа жил у него, Рута в деревне у родственников. Мы с Майей остались у знакомых в Пурвциемсе, у них был свой дом. Когда жила в Бауске, окончила вечернюю среднюю школу, мечтала о медицине, хотела стать медсестрой, но тогда принимали только до 30 лет... Работала на аптечном складе фасовщицей, потом в ТТУ, выдавала билеты... Я уж и забыла. В 1960 году вышла замуж. Муж получил от работы комнатку в Милгрависе. Он работал в «Латвэнерго», у них с квартирами было хорошо. Когда ждали дочку, получили двухкомнатную квартиру в Болдерае.

На здоровье сейчас не жалуюсь, выполняю все предписания врачей. У Майи были больные почки, она уехала в Туркмению, там прожила много лет. Сухой воздух пошел ей на пользу, да и арбузы. Когда ей стало совсем плохо, написали, чтобы за ней приехали. Муж поехал, но в Москве ее сняли с поезда, и на следующий день она умерла – почки совсем отказали. Если бы ее начали лечить еще в Сибири, но там таких врачей не было...

Когда в 1957 году приехали в Ригу, Руту положили в больницу, пожила она месяца два... Без кислорода уже не могла. Вечером по назначению врача сестра ввела ей снотворное, она заснула, но кислорода не было, наутро она умерла. Я напала на врача, и та ответила: «Дышать ей было уже нечем». Когда сделали секцию, оказалось, что от легких у нее осталось тоненькое колечко... Помочь ей не мог уже никто... Отец работал в каком-то учреждении. У него в Америке были друзья, но лекарства оттуда присылать не разрешалось. Отец много ходил, занимался зарядкой. Но вместо 5 раз выполнял упражнение 15–20 раз. Но не в 78 же лет. А у него еще были камни в желчном пузыре. У него и в голове помутилось. Меня впустили, он меня узнал и все говорил, что вокруг большевики, что они в него стреляют... Через несколько дней умер. Рута умерла в 1958 году, Майя в 1968-м, отец в 1978 году, я смеялась – моя очередь настанет в 1988-м, но обошлось.

Когда Латвия стала свободной, целыми днями я смотрела телевизор, все-все, жаль, что отец до этого не дожил... Зато я была счастлива. Отец всегда говорил, что большевики здесь недолго будут править...

В Юрмале у мамы был дом, мне его вернули, в Риге было сложнее, поделили собственность пополам с семьей папиной сестры. Двоюродный брат обещал выплачивать мне ежемесячно 100 латов, хотел, чтобы ему все отдали. Я переписала доверенность на сына, он этим и занимался.

В Латвии разбрасываются деньгами, тратят не там, где нужно. Вот показывают телефон благотворительной организации, какой-то больнице нужен аппарат, а я думаю – неужели же его не может приобрести государство? Или парки на Пасху зайцами, кошками украшают – ну кому это нужно? Лучше бы Детской больнице деньги передали. У нас люди о других думать не приучены, как бы свои карманы набить...

Я не из разговорчивых, я лучше молчу. Сердце болит, что сестры так рано ушли – одна в 30 лет, другая в 31 год. Могли бы жить и жить. Я вот живу, мне уже 75... О Сибири думаю редко. Вспоминать не хочется, забыть невозможно, а вспоминать не хочется...

Бабушка умерла, отчего, так и не знали, врачей не было. А у меня в то время все ноги были в нарывах, на кладбище пойти не могла. Многие умерли. С матерью Калниете иногда видимся. Здоровье у нее слабое. С другой подругой созваниваемся. Взрослые дети, что в колхозе работали, все уже умерли. Мама Сандры Калниете на два года меня старше.

В Колпашеве была такая семья Клява. Муж ее Арвидс Клява, в корпорации «Селония» состоял. Он был предателем, отца выдал, брата подруги. Мужчины все были в лагере, а у тех, кого оставили, у них у каждого была своя обязанность. Мы знаем, что он такой был. А вот знала ли жена, этого не скажу. Мне вот 75 лет, остальные все были старше. У меня четверо внуков. У дочки двое, у сына двое. Одной внучке уже 18 лет, внуку – 16...

Не знаю, что еще сказать... Все из головы выветрилось. Иногда многое вспоминается из детства, а вот что случилось неделю назад, не вспомню...